И. ПОЛТАВСКИЙ. ТОМ II-й



ГЕРОИЧЕСКОЕ В РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Издательство Л. Д. Френкель
Москва — Ленинград
1925



И. ПОЛТАВСКИЙ

ГЕРОИЧЕСКОЕ В РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

С ПРЕДИСЛОВИЕМ
Б. И. ГОРЕВА

В ТРЕХ ТОМАХ
с 115 рисунками
и портретами в тексте

ТОМ ВТОРОЙ

ПЕРВОМАРТОВЦЫ.—В ТЮРЬМАХ
И ШАХТАХ СЫРЫХ.—МСТИТЕЛИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО Л. Д. ФРЕНКЕЛЬ
МОСКВА 1925 ЛЕНИНГРАД

Типография имени ВОЛОДАРСКОГО, аренд. „Красной Газетой“,
Ленинград, Фонтанка, 57.

Ленинградский Гублит № 16534. Тираж 5000.—11.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Книга И. Полтавского ставит своей задачей только нарисовать события, а не объяснить их. Но самые события эти таковы, что они делают значительным и ответственным всякий подход к ним, в том числе и тот легкий, полу-беллетристический, какого держится автор „Героического в русской революции".

Б. И. Горев в своем предисловии к первому тому этой книги указал, что благодаря психологическому, а не историческому отношению автора к революционному движению, его книга делается „особенно доступной душе начинающего читателя или юноши". „С этой точки зрения",—говорит тов. Горев,—„не имеет большого значения отсутствие теоретической выдержки, смешение фактов или характеристик самого различного качества, равно как отдельные ошибки, неточности: самое важное в книге—это проникающее ее настроение и та масса фактического материала, хотя и преподнесенного под психологическим соусом, который дается читателю и безусловно заинтересовывает, захватывает его".

Но книга по истории революционного движения, выдвигающая на первый план „настроение" и интересность, хотя бы и „захватывающую", требует во всяком случае целого ряда существенных оговорок. „Героическое"

в революции это вовсе не значит занимательное, театрально-эффектное, кинематографически-феерверочное.

В целом ряде глав книга И. Полтавского рисует личности революционеров. Но поскольку история—это законосообразный процесс, самая личность есть лишь производное. Высокие волны вздымаются во время бури на океане. Эти волны представляются грозными и величественными, но сущность бури не в них. Они—производное. Это показатели силы урагана, а не причины его.

Ход исторических событий, как известно, определяется далеко не одними только сознательными поступками людей, даже если иметь в виду массы. Тем меньшая значимость присуща отдельным единицам, „героям", той „мыслящей личности", какую так прославляли субъективисты. По формуле Г. В. Плеханова, „характер личности является фактором общественного развития лишь там, лишь тогда и лишь постольку, где, когда и поскольку ей позволяют это общественные отношения".

Читатель книги И. Полтавского должен четко помнить, что в истории революции сущность движения вперед вовсе не в ярких и блестящих эпизодах деятельности отдельных личностей, а в подлинно великих движениях, изменяющих экономические условия и социальные учреждения. Этот примат общества над личностью следующим образом охарактеризован Н. Бухариным в его „Теории исторического материализма": „Личность всегда действует, как общественная личность, как член, составная часть группы, класса, общества. Личность всегда заполнена общественным содержанием, а потому, чтобы понять развитие общества, нужно итти от рассмотрения общественных условий к личности, а не наоборот. Из общественных отношений, — из рассмотрения

условий всей общественной жизни класса, профессиональной группы, семьи, школы и т. д.—мы можем объяснить более или менее развитие личности; а из развития „личности“ мы отнюдь не сможем объяснить развития общества... Если мы будем стараться, как это делают некоторые буржуазные ученые, объяснять общественные явления из явлений личных (индивидуально-психологических), тогда у нас получится не объяснение, а чехарда. „Земля на китах. А киты на воде. А вода на земле“... Точно так же, как общество не есть простая сумма людей, точно так же духовная жизнь общества не есть простая сумма идей и чувств отдельных людей, а это есть продукт их общения, нечто до известной степени особое, новое, что не может быть просто сведено к арифметическим слагаемым; новое, что возникает именно из взаимодействия людей. Необходимо итти от общества. Ибо из общественной среды черпает личность свои мотивы, в общественной среде и условиях ее развития она имеет границы своей деятельности, общественными условиями определяется ее роль“.

Все эти указания, конечно, вовсе не означают, что автор книги о героическом в русской революции не должен был со всем вниманием обрисовывать действующих лиц разных эпох. Ведь история делается людьми, и поэтому деятельность личностей не может не иметь значения.

„Нельзя уничтожить систему монархии, не свергнув монарха. Нельзя положить конец капиталистическому способу производства, не экспроприировав капиталистов“,—писал в лучшие годы свои Каутский: „Наше почитание отдельных личностей, а также борьба с отдельными личностями вполне согласуется с нашей материалистической точкой зрения“.

В этом и заключается все дело. Внимательная и яркая характеристика личностей, действующих лиц исторического процесса может быть ценна и значительна. Для этого нужно лишь четко помнить, что каждая личность есть продукт условий, что особенностями своего развития она обязана своей среде, что центр тяжести лежит в свойствах общественных отношений, а не в индивидуальных особенностях отдельных лиц. „Великий человек“,— писал Плеханов еще в те годы, когда он был Бельтовым,—„велик не тем, что его личные особенности придают индивидуальную физиономию великим историческим событиям, а тем, что у него есть особенности, делающие его наиболее способным для служения великим общественным нуждам своего времени.

Все эти указания получают тем бо̀льшую важность, что книге И. Полтавского нельзя отказать в некоторой значительности. Большая работа, проделанная автором, отвечает назревшей потребности читательских масс.

Как ни странно, но подлинной истории русского революционного движения в его целом мы и до сих пор не имеем. Только канву для этой работы представляют собой „Очерки по истории революционного движения“ М. Н. Покровского.

Прежние же издания, как А. Тун, Конни Цилиакус, А. Кульчицкий, Мазовецкий и др. не только устарели, но и отличаются сухостью изложения.

Книга И. Полтавского написана в легкой, живой, зачастую увлекательной форме, т.-е. является доступной для широкого массового читателя. Те главы книги, которые свободны от указанного недостатка переоценки роли личности, как „Рабочие волнения“, „Крестьянские бунты“, „1905 год“ и т. п., не только интересны, но и полезны

и дают широкие и яркие картины больших масштабов.

Это обстоятельство обязывает...

Вот почему, помимо не везде достаточно четкой позиции автора в вопросе о роли личности в истории, нельзя не указать и еще на одну черту. Рисуя эпизоды и события русской революции вплоть до февральского переворота, автор как бы ограничивается описаниями борьбы за свободу. Нельзя забывать, что свобода не есть самоцель, а только средство для перехода к социализму.

„Борьба с самодержавием за свободу казалась самоцелью буржуазии",—говорит М. Покровский в своих „Очерках по истории революционного движения в России":—„Но когда самодержавие было низвергнуто, буржуазия и, в особенности, говорившая от ее лица интеллигенция, надеявшиеся вступить в царство божие свободы, налетели со всего маху на пролетарскую диктатуру. Это до такой степени не входило во все их расчеты, до такой степени было странно, нелепо и дико для них, что они взвыли, возопили, отреклись от этой революции, заявили, что она „не настоящая"...

Этот, происшедший на наших глазах, отрыв людей, в прошлом именовавшихся революционерами, от подлинной, долго жданной и, наконец, наступившей революции настолько значителен, что читатель не может не иметь его в виду при чтении книги.

Если храбрость вовсе не выражается в действиях „очертя голову", а представляет собой лишь „знание, чего надо бояться", то и героизм вовсе не является чем-то безотносительным, а связан с четким и продуманным планом, твердой и настойчивой волей. Не сентиментальный и бездумный героизм жертвы, а суровый героизм

борьбы, железный героизм достижений великих целей революции,—вот что действительно важно для массового читателя.

Перед нами, таким образом, два основных условия, каких требует от читателя книга И. Полтавского. Во-первых, надо помнить о необходимости правильной оценки роли личности, стремления и идеалы которой являются лишь субъективными выражениями объективной необходимости. Во-вторых, нужна полная четкость в оценке предлагаемых здесь картин революционного движения в разные эпохи. Борьба за свободу не есть самоцель, а лишь средство для перехода к социалистическому строю.

Только в том случае, если читатель будет внимательно помнить оба эти указания, можно будет согласиться со словами Б. Горева о важности „настроения, проникающего книгу“, и о том, что „масса фактического материала, преподнесенного читателям под психологическим соусом, безусловно заинтересовывает и захватывает“.

При этом лишь условии можно присоединиться к тому заключению, каким Б. И. Горев закончил свое предисловие к первому тому книги И. Полтавского: „Если принять во внимание, что значительная часть этого материала является изложением или даже цитированием источников, что автор прочитал огромную литературу,—то нельзя не признать, что „Героическое в русской революции“ в качестве легкого чтения по истории революционного движения в России, безусловно займет свое место и найдет своего читателя“.

ГЛАВА I.

Первомартовцы.

Желябов, Перовская, Кибальчич... Какие цельные какие крупные фигуры и образы!

От главной основы и до мельчайших деталей суровым и напряженным героизмом насыщено „дело первого марта“. Исключительных характеров потребовала эта решительная схватка, борьба на жизнь и смерть двух лагерей, из которых один — самодержавие—располагал бесчисленными силами, гигантским и мощным государственным аппаратом, а другой—Исполнительный Комитет Народной Воли—представлял собой лишь крошечную горсть, кучку людей, сильных одним только безумным напряжением своей воли и энергии.



С. А. Перовская.

В этом суровом поединке юного Давида с мощным Голиафом победил, как известно, Давид. Но какое же исключительное, какое безумное напряжение воли и энергии понадобилось для этой победы!

Жалябов, Перовская, Кибальчич!..

— В истории жизни этих людей,—говорит А. Тун,— отражается весь ход революционного движения. Все они начали с мирной пропаганды. После подавления ее правительством, перешли к революционной агитации и лишь безрезультатность этой последней привела их к террору.

Выстрел Каракозова, выступление Засулич, покушение Соловьева—все это зародилось стихийно, было проявлением „партизанщины". Только с переходом от народничества к Народной Воле, терроризм воспринят поколением, как неизбежный этап на пути к освобождению от гнета самодержавия.

Общее число покушений на Александра II, совершенных Народной Волей, дошло до семи. Мы знаем уже, как безрезультатны оказались те три покушения, какие были созданы во время проезда царя из Крыма в Петербург. Еще и теперь деятельность Исполнительного Комитета не далеко ушла от „партизанщины". Характерна, напр., причина, по которой не удалось покушение, устроенное в начале 1881-го года под Каменным мостом на Фонтанке. Мина под мостом была заложена своевременно, но взорвать ее во время проезда Александра II не удалось, как оказывается, потому, что „у исполнителей не было часов", и они не могли точно высчитать момент, когда царская карета проедет.

Но эпоха партизанщины все очевиднее уходит в прошлое.

„Нельзя не заметить, — говорит одна из официальных записок (по делу М. Н. Тригони), — что учение социалистов с 1876 г., когда производилось Каракозовское дело, настолько развилось, что нельзя и сравнить прежних нигилистов, не имевших достаточно определенных целей,

с нынешними анархистами, из которых уже многие поставляют повидимому себе, как они называют, „объектом“ — не только разрушение, но и созидание государства на социальных началах, к сожалению почерпнутых ими из современной науки“.

Уже 21 виселица выросла в результате прежних покушений на Александра II. На этот раз план составлен с исключительной предусмотрительностью.

Слежка за Александром II ведется уже с осени, около полугода. Наблюдательный отряд, кружок лиц, специально занятых этим, по заранее составленному расписанию, каждый день выделяет двух членов для дежурства, с целью изучения, в какое время, по каким улицам и насколько правильно совершает царь свои выезды.



А. И. Желябов.

Работа наблюдательного отряда совершалась теми же способами, какие сохранились и впоследствии, в течение целых десятилетий, и широко применялись при казни Плеве, и Сергея Александровича, и Дубасова, и др. сановников эпохи Николая II. То „дряхлая старушонка медленно плетется через Дворцовую площадь“, то простоватый извозчик остановится на углу площади и Миллионной, то торговец папиросами вызовет гнев городового тем, что окажется неподалеку от дворца. И „старушонка с клюкой“, и „в скобку подстриженный извозчик с простоватым лицом“ и „бойкий ярославец с папиросами“—все это они, члены наблюдательного отряда,

революционеры, высланные Исполнительным Комитетом, чтоб проследить за временем выезда царя и маршрутами его поездок.

По плану, покушение первого марта состояло из трех частей. Главным считается взрыв, какой должен последовать во время проезда царя по Садовой улице, где проведен особый подкоп, из „сырной лавки Кобозевых“. Только на случай, если этот план не удастся, — по пути проезда кареты царя размещен резерв, 4 метальщика с бомбами.

Резервы этим не ограничиваются. Если бы и их действия оказались почему-либо безрезультатными, — за дело должен взяться А. И. Желябов лично. Вооруженный кинжалом, он, в случае неудачи метальщиков, во время неурядицы, созданной брошенной бомбой, должен броситься к царю и кончить дело.

Подготовка, на какую революционерами истрачены долгие месяцы напряженной работы, доведена до виртуозности. Основной базой является старательно устроенная на Садовой улице „сырная лавка Кобозева“. Подкоп, проведенный из этой лавки, ведется до самой середины улицы, по которой ожидается проезд Александра II. Каждую ночь являются на работу революционеры. Каждую ночь они копают все дальше и глубже, складывая вынесенную из подземного хода землю в бочки, находящиеся в „сырной лавке“.

Подземная галлерея уже проложена. Все подготовлено к взрыву. Здесь и мина с двумя пудами динамита, и особая капсюля гремучей ртути, и шашки пироксилина, и нитроглицерин.

„Сырная лавка Кобозева“ использована полностью. В ней все готово для взрыва. Но как раз в это время

до полиции дошли слухи о том, что содержатели этой лавки, живущие под фамилией Кобозевых, Юрий Богданович и Анна Якимова, вызывают подозрение своим образом жизни и интеллигентностью. — Ни тебе ругани, ни драки, ни пьянства. Странно даже. Вовсе на содержателей лавки не похожи.

Полиция оказывается на высоте положения: 28 февраля 1881 года, всего за день до убийства Александра II, полиция, составив особую комиссию, посылает ее произвести следствие о подозрительной сырной лавке, внимательно осмотреть помещение и обнаружить, что там творится. Комиссии придан вид технического досмотра, и во главе ее поставлен инженер, генерал-майор Морованский. Осмотр производится тщательный.

— Это что за сырость?—спросил, напр., один из членов комиссии, пристав, указывая на следы влажности подле одной из бочек, наполненных сырой, взятой из подкопа, землей.

— Так что на маслянице сметану пролили,—ответил, не растерявшись, Богданович. „Стоило приставу заглянуть в кадку и все дело сразу же рухнуло бы и все участники были бы повешены“, — рассказывают мемуары В. Фигнер.

Дело, казалось, и вправду погибло бесповоротно. Но в самую решительную минуту революционеры, подготовлявшие покушение, вспомнили о старинном русском способе, о доброй, старой взятке. Старинное средство подействовало магически. Одного взгляда достаточно, чтобы бравые полицейские увидели и бочки, наполненные вынесенной из подземной галлереи землей, и самый подкоп, и мину, заключающую два пуда динамиту. Но уже дадено кому следует, и, жадно зажав „барашка в бумажке“, генерал Морованский и вся довольная собой комиссия

удаляются, составив протокол о том, что „по осмотре помещения все найдено в добром порядке“.

Все обстоит благополучно.

В день 1-го марта 1881 года Александр II, как всегда по воскресеньям отправлявшийся на развод, в последнюю минуту переменил маршрут и поехал не по Садовой, где его ожидал подкоп, а, повернув по Инженерной улице, направился по набережной Екатерининского канала. Но заговор ведется серьезно: стоящая на страже на набережной София Перовская уже вынула носовой платок,—условный знак, определяющий линию маршрута царского экипажа,—и дежурящие на этот случай, снабженные бомбами революционеры уже перестроились. В два с половиною часа пополудни под каретой Александра II взрывается бомба.



Н. Рысаков.

Одной оказалось недостаточно. Понадобилось, как известно, еще и вторая.—Слава богу, благополучно!—успевает произнести после взрыва первой, брошенной Рысаковым, бомбы Александр.—Еще слава ли богу?—говорит Рысаков, за мгновение перед тем, как бросил вторую бомбу погибший на месте Гриневицкий.

* * *

Сразу же после убийства Александра II, весть о событии стала известной всему Петербургу. Сразу же двинуты на улицы скачущие с копьями вперед, шашки наголо,

„Злодейское покушение на священную особу государя императора Александра II“.



Взрыв первой бомбы.

(С лубочной картины восьмидесятых годов).

казацкие отряды. По улицам бегом движутся городовые и гвардейцы, с предписанием немедленно запереть все портерные, все харчевни и кабаки.

Правительство боится бунта и уверено, что взрыв бомбы и убийство царя—это сигнал ко всеобщему восстанию.

Среди воспоминаний современников об этом моменте находим такую, напр., характерную черту: извозчик, нахлестывая лошаденку, кричит на всю улицу другому извозчику, везшему одного из сотрудников „Отечественных Записок": „Ванька, дьявол! Буде тебе бар возить. Государя-то ведь на четыре части разорвало!"



И. И. Гриневицкий.

„Барин" в облезлом пальто на рыбьем меху, всего вероятней, по психике и сам недалеко ушел от этого извозчика. Он тоже верит, что бар возить больше не будут. По крайней мере, еще и несколько дней спустя после взрыва, не только легко возбуждающийся Глеб Успенский, но и такой осторожный человек, как Н. К. Михайловский, уверенно заявляет: „На этот раз на нас идет революция".

Даже манифест о восшествии на престол слоноподобного Александра III, написанный под свежим впечатлением событий, говорит о взрыве бомбы, убившей прежнего царя, такими неожиданными словами: „Воля всевышнего совершилась". Кто мог думать, что исполнительный комитет Народной Воли выполняет волю всевышнего? Народ-

Первая прокламация после казни Александра II
(с подлинника).

ОТЪ РАБОЧИХЪ

ЧЛЕНОВЪ ПАРТІИ НАРОДНОЙ ВОЛИ.

Русскій рабочій людъ!

Сего 1 марта Александръ II, мучитель своего народа, убитъ нами, соціалистами. Объявляемъ объ этомъ всенародно.

Онъ убитъ за то, что не заботился о своемъ народѣ, отяготилъ его невыносимыми податями, обдѣлилъ мужиковъ землей, отдалъ рабочаго на разоренье всякому грабителю и міроѣду. Онъ не давалъ народу воли, не слушалъ слезныхъ мужицкихъ жалобъ; онъ защищалъ только однихъ богатыхъ, а самъ пировалъ и роскошествовалъ въ то время, когда народъ помираетъ съ голоду. Царскіе слуги, урядники, становые, полицейскіе разоряли и грабили народъ, мучили и убивали крестьянъ, а царь за это награждалъ, а не наказывалъ ихъ. Мірскихъ людей, которые стоятъ за народъ и за правду, царь вѣшалъ и ссылалъ на каторгу да въ Сибирь.

За все это онъ теперь убитъ. Царь долженъ быть пастыремъ добрымъ, душу свою за овцы полагающимъ; Александръ II былъ лютымъ волкомъ, и страшная смерть покарала его.

Русскіе рабочіе! Теперь вступаетъ на престолъ новый царь, Александръ III. Нужно, чтобы онъ не пошелъ въ отца. Пусть онъ призоветъ народныхъ выборныхъ отъ всѣхъ деревень, заводовъ, фабрикъ, пусть узнаетъ мужицкое горе и нужду, и впредь царствуетъ по правдѣ. Пусть у него совѣтниками въ Сенатѣ будутъ народные выборные. Тогда царь дастъ мужикамъ и землю, и подати уменьшитъ, и волю дастъ народу. Подавайте всѣ прошенія объ этомъ — изъ городовъ, изъ деревень. Если же царь не послушаетъ народнаго горя, и начнетъ, какъ его батюшка, вѣшать да ссылать въ Сибирь всякаго, кто стоитъ за рабочихъ, тогда нужно и его смѣнить. Помните, братья, что покоряться мучителю—тяжкій грѣхъ, черезъ это терпитъ горе весь народъ.

Братья-рабочіе! Довольно мучилась вся Русская земля. Настала пора, когда правда воцарится на землѣ. Нужно только, чтобъ рабочій народъ дѣйствовалъ смѣло, какъ дѣйствовали Петръ Алексѣевъ, Прѣсняковъ, Тихоновъ, Ширяевъ, Окладскій. Всѣ эти наши братья соціалисты—изъ крестьянъ и мѣщанъ—не убоялись никакой муки, ни каторги, ни самой смерти, стоя за правду. Такъ и всѣ должны дѣлать, и тогда все пойдетъ хорошо, и не будетъ на Русской землѣ ни нищеты, ни слезнаго горя.

2 марта 1881 г.

Летучая Типографія „НАРОДНОЙ ВОЛИ" 3 марта 1881 г.

ная воля и божья воля оказываются одинаковы,—удивляются обыватели.

Сразу же после убийства Александра II, немедленно закрыты оказываются все границы, и строго-на-строго „воспрещен въезд“ в Россию кому бы то ни было из иностранцев. „Тут пошли дела семейные“. Иностранцам здесь делать нечего.

Как значится в обвинительном акте: „1-го марта, в 9 час. утра, Рысаков, Тимофей Михайлов и проч. сошлись на конспиративной квартире. Вскоре пришла Перовская и принесла с собой узел со снарядами. Она сообщила об аресте Желябова и объяснила, что, несмотря на работу в течение всей ночи, не успели приготовить предположенного прежде количества снарядов. Имеются всего две бомбы. „Нужно довольствоваться малым“, — сказала Перовская“.

Это „малое“—дало, как известно, те результаты, каких ждали.

* * *

А. И. Желябов был по случайным причинам арестован за несколько дней до 1-го марта. К делу о цареубийстве он не привлечен. Но оставить на скамье подсудимых одних только исполнителей,—это значит рисковать общественным значением процесса.

Желябов посылает из тюрьмы особое заявление на имя прокурора, в котором для себя, как для „ветерана революции“, требует такой же виселицы, как и для Рысакова: „Если Рысакова намерены казнить, — было бы вопиющей несправедливостью сохранить жизнь мне, неоднократно покушавшемуся на жизнь Александра II, не принимавшему физического участия в умерщвлении его лишь по глупой случайности“.

Единственное, что пугает сидящего в заключении А. И. Желябова, это мысль, что правительство, „за недостатком формальных улик“ против него, предпочтет внешнюю законность внутренней справедливости, и из-за этого он несправедливо избегнет виселицы. „Я протестую против такого исхода всеми силами души и требую справедливости“, — заявляет Желябов, настойчиво указывая в своем заявлении, что именно он, Желябов, внушил Рысакову „ясное понимание роли царей в судьбах русского народа и необходимость их уничтожения вообще“.

А. И. Желябов не только гордо настаивает на том, что он полностью заслужил веревочную петлю из рук царя. Своей речью на суде он пытается воспользоваться, чтобы развернуть свою идеологию, свою программу.

— Господа судьи! Дело всякого убежденного деятеля ему дороже жизни, — так начал А. И. Желябов свою речь на суде. И столько было в этой речи подкупающего достоинства, столько подлинной красоты и благородства душевного, что очевидное почтение к личности подсудимого проявляет даже седой первоприсутствующий. Даже прокурор Н. В. Муравьев, из себя выходивший, чтобы обеспечить себе ту карьеру будущего министра, какой он в дальнейшем достиг, даже этот резвый прокурор не мог не отметить в своей речи, что на скамье подсудимых „человек выдающийся, человек, созданный для роли вождя“.

* * *

За день до того, как взорвалась бомба 1-го марта, Александр II с радостью узнал об аресте Желябова. Лорис-Меликов лично прибывает во дворец, чтобы обра-

довать царя этим сенсационным известием. Во дворце ликование.

В воскресенье, 1-го марта, Александр II после обедни, перед отъездом на парад, заходит проститься с женой, Екатериной Юрьевской.—Полчаса он проведет в Михайловском манеже на разводе караулов. Оттуда он отправится пить чай к кузине Кате, а в три без четверти он будет дома. „Если хочешь, после этого поедем вместе в Летний сад“,—предлагает царь.

Александр II выехал из Зимнего дворца в три четверти первого. Карету сопровождают конвой из семи терских казаков и особые сани с полицейскими чинами, с полковником Дворжицким во главе.

Но конвой ни от чего не спасет самодержца.

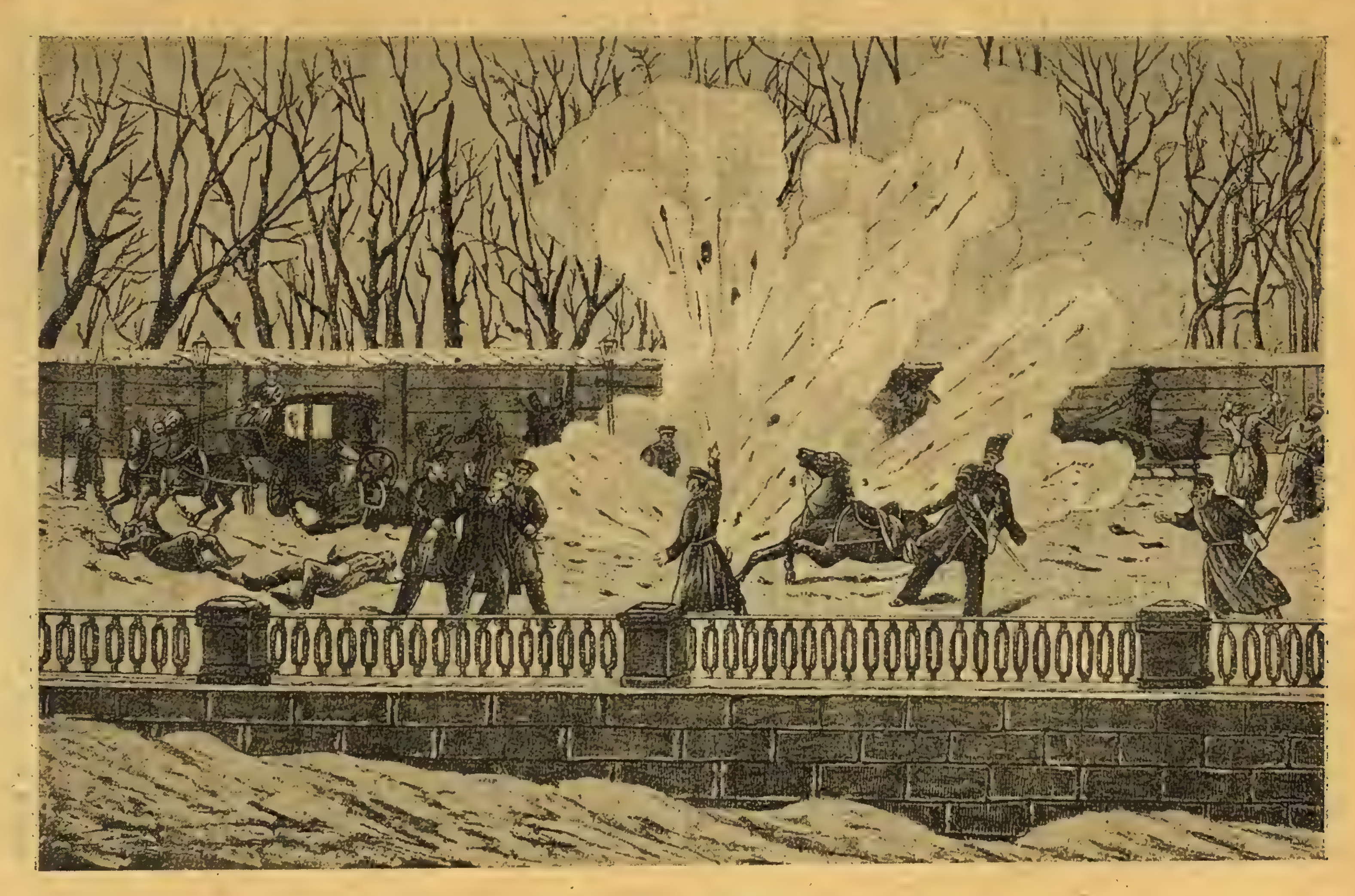
К трем часам, к тому времени, когда во дворце княгиня Юрьевская успеет надеть выходной костюм, и в шляпе и пальто станет ждать своего супруга, чтобы поехать в Летний сад,—во дворец принесут залитые кровью клочья разорванного мяса. Это все, что осталось от самодержца всероссийского.

— Тот, кто не пережил с нами периода после 1-го марта,—говорит Вера Фигнер,—тот никогда не составит себе понятия о всем значении этого события для нас, как революционной партии. Если бы честолюбие было руководящим мотивом членов партии, то теперь оно могло бы насытиться, потому что успех был опьяняющий.

О событии сообщают друг другу, как о начале новой эры в жизни России.

— Когда я,—рассказывает В. Фигнер,—вошла к друзьям, которые еще ничего не подозревали, то от волнения едва могла выговорить, что царь убит. Я плакала,

„Злодейское покушение на священную особу государя императора Александра II".



Взрыв второй бомбы.

(С лубочной картины восьмидесятых годов).

как многие другие: тяжелый кошмар, давивший в течение 10 лет на наших глазах молодую Россию, был прерван. Ужасы тюрьмы и ссылки, насилия и жестокости над сотнями тысяч наших единомышленников, кровь наших мучеников, — все искупала эта минута, эта пролитая нами царская кровь. Тяжелое бремя снималось с наших плеч, — реакция должна была кончиться, чтоб уступить место обновлению России!

Политической прозорливости здесь на проверку оказалось немного. Но в те дни иная оценка события казалась совершенно невозможной.

В самый день убийства Александра II, в 4 часа пополудни, Исполнительный Комитет собрался на конспиративной квартире у Вознесенского моста.— Написать прокламацию о событии, — рассказывает в своих записках А. В. Прибылева-Корба, — поручено „исполнявшему роль статс-секретаря Комитета, Льву Тихомирову". Тихомиров же явился автором знаменитого обращения к Александру III, редактирование которого было поручено Н. К. Михайловскому.

Сила „Народной Воли" была в то время воистину громадна. Несколько человек революционеров „держат в осаде громадную империю с ее необъятными силами, раз за разом нанося ей удары". „Положение, правда, еще не безнадежное, но серьезное", — объявляется официально в правительственной комиссии, в то самое время, как в составе партии „Народной Воли", — указывает М. Н. Коваленский, — насчитывается едва четыре десятка членов, и в кассе партии не хватает подчас сотни рублей на неизбежно-нужные расходы".

— Кровавая трагедия, разыгравшаяся на Екатерининском канале,—говорит Исполнительный Комитет Народной

Воли в своем „письме к Александру III“, — не была случайностью, и ни для кого не была неожиданностью. После всего, происшедшего в течение последнего десятилетия, она являлась совершенно неизбежной, и в этом ее глубокий смысл, который обязан понять человек, поставленный судьбой во главе правительственной власти. Объяснять подобные факты злоумышлением отдельных личностей, или хотя бы шайки, — может только человек, совершенно неспособный анализировать жизнь народов. Вы знаете, ваше величество, что правительство покойного императора нельзя обвинять в недостатке энергии. У нас вешали и правого, и виноватого, тюрьмы и отдаленные губернии переполнялись ссыльными. Целые десятки так называемых „вожаков“ переловлены, перевешаны. Они гибли с мужеством и спокойствием мучеников, но движение не прекращалось. Оно безостановочно росло и крепло, — указывает письмо Исполнительного Комитета:

— Да, ваше величество, революционное движение — не такое дело, которое зависит от отдельных личностей. Это процесс народного организма. Общее количество недовольных людей в стране увеличивается. Доверие к правительству в народе должно все более падать. Мысль о революции, об ее возможности и неизбежности, все прочнее будет развиваться в России. Страшный взрыв, кровавая перетасовка, судорожное революционное потрясение всей России завершит этот процесс разрушения старого порядка!

— В свое время, — указывает далее письмо Исполнительного Комитета, — императорское правительство подчинило народ крепостному праву, отдало массы во власть дворянства. В настоящее время оно открыто создает самый вредный класс спекулянтов и барышников. Народ впадает все

в большее рабство, все более эксплоатируется. Народные массы находятся в состоянии полной нищеты и разорения. Покровительством закона и правительства пользуется только хищник и эксплоататор...

Говоря о грядущей революции, Исполнительный Комитет называет не случайно эту перспективу „страшной“:

— Да, ваше величество, страшная и печальная. Не примите это за фразу. Мы лучше, чем кто-нибудь другой, понимаем, как печальна гибель стольких талантов, такой энергии на деле разрушения, в кровавых схватках, в то время, когда эти силы в других условиях могли бы быть потрачены на созидательную работу, на развитие народа, его ума, благосостояния, его гражданского общежития.

Отчего же происходит эта печальная необходимость кровавой борьбы? „Оттого, ваше величество, что теперь у нас настоящего правительства, в истинном его смысле, не существует. Правительство по своему принципу должно только выражать народные стремления, только осуществлять народную волю. Между тем, у нас правительство выродилось в чистую камарилью, и заслуживает названия узурпаторской шайки гораздо более, чем Исполнительный Комитет. Вот почему русское правительство не имеет никакого нравственного влияния, никакой опоры в народе. Вот почему Россия порождает столько революционеров. Вот почему даже такой факт, как цареубийство, — вызывает в огромной части населения радость и сочувствие. Да, ваше величество, не обманывайте себя отзывами льстецов и прислужников. Цареубийство в России очень популярно!“.

В эти дни в Аничковском дворце созывается первое заседание по вопросу о возможности введения той убо-

гой конституции, которую граф Лорис-Меликов пытается выдать за духовное завещание Александра II. Как известно, вся эта конституция и в проекте-то представляла собой всего лишь приглашение „сведущих лиц“ в помощь правительству. Но и это признано крамолой, и, как радостно заявил впоследствии в одной из своих собственноручных резолюций Александра III,—„слава богу, этот преступный и спешный шаг к конституции не был сделан“.

Думал ли,—вздыхает, опубликовывая эту резолюцию в „Былом“, князь Голицын,—думал ли Александр III, когда писал эти слова, что в них он начертал смертный приговор царской власти в России?!

— Слава богу, у нас нет парламента!—заявит, совершая плагиат, еще и через четверть века после этого граф Коковцов в Таврическом дворце.

Если бы В. Н. Коковцов пожелал углубить свой плагиат, он имел бы все основания, кроме формулы Александра III, использовать еще и фразу, произнесенную Рысаковым в то время, как он бросал бомбу на Екатерининском канале:

— Еще слава ли богу?

Впрочем, если слова Александра III „Слава богу, у нас нет парламента“ граф В. Н. Коковцов возгласил в Петербурге, в Таврическом дворце, в речи к депутатам государственной думы,—то вторую формулу Рысакова „Еще слава ли богу?“ В. Н. Коковцов имел все основания повторить уже в Париже, где он во дни Деникина и Врангеля очутился в качестве белого эмигранта, и долгие годы после октябрьской революции настойчиво, но безуспешно обивал пороги французских государственных деятелей и банкиров.

Совещание в Аничковском дворце по вопросу о конституции даже на оценку председателя этого совещания, Валуева, — убого до последнего предела. „Совещание было жалко“,—пишет в своем дневнике Валуев.—„Всякое разумное суждение было невозможно. Рамки, понятия, формулы, — все условно. Понимание ограниченное. Дело на заднем плане. Истины ни на алтын. И мы — правительство!“.

Три пушечных залпа с Петропавловской крепости оглашают Петербург. Над крепостью взвивается черный флаг с императорским гербом. Все церкви города отвечают похоронным звоном. По Адмиралтейской набережной, охраняемая отрядом конной гвардии, тянется длинная вереница церемониймейстеров. Это начало торжественной процессии, несущей к месту вечного успокоения разорванные бомбой останки того, что было „самодержцем всероссийским, царем польским, великим князем финляндским, и прочая, и прочая, и прочая“.

В руках у церемониймейстеров бесчисленные царские регалии: корона, скипетр, держава, бесчисленные ордена, знамена и мечи Москвы, Киева, Сибири, Польши, Эстонии, Курляндии, Грузии, Финляндии...

Велика, безгранично велика империя Российская!

* * *

— Господа сенаторы, господа сословные представители! — патетически начинает на суде экзаменующийся на резвость прокурор Н. В. Муравьев: — Призванный быть на суде обвинителем величайшего из злодеяний, когда-либо совершившихся на русской земле, я чувствую себя совершенно подавленным скорбным величием лежащей на мне задачи. Перед свежею, едва закрывшейся могилою



Уцелевшие регалии.

(С рисунков современника А. А. Насветевича).

нашего возлюбленного монарха, среди общего плача отечества, потерявшего так неожиданно и так ужасно своего незабвенного отца и преобразователя, я боюсь не найти в своих слабых силах достаточно яркого и могучего слова.

В этом стиле лубочного „патриотизма“ выдержана вся речь. — Язва революции — это язва неорганическая, — утверждает прокурор: — Сомнения в этом нет и быть не может. Это недуг наносный, пришлый, преходящий, русскому уму несвойственный, русскому чувству противный. Социализм вырос на Западе и составляет уже давно его историческую беду. У нас ей неоткуда было взяться. У нас не было, и, слава богу, нет до сих пор ни антагонизма между сословиями, ни преобладания буржуазии, ни традиционной розни и борьбы общества с властью. Многомиллионная масса русского народа не поймет социалистических идей. Революционеры — это люди, растерявшие остатки здравого смысла, совести, человечности, стыда. Эти отверженцы далеко оставили за собой геркулесовы столбы бессмыслия и наглости!

— Сомневается ли кто-нибудь, что цель революционеров — разрушить существующий мир, и на место его возвести мир социалистический — есть химера, недостижимая, безумная? — восклицает далее прокурор, требуя казни для подсудимых. — Людьми отвергнутые, отечеством проклятые, пусть они умрут, и дадут всевышнему богу ответ в своих злодеяниях. Их кровавые замыслы и злодейства разобьются о верную русскую грудь. Крамола была и всегда будет бессильна поколебать вековую русскую преданность престолу и существующему государственному порядку. С корнем вырвет русский народ адские плевелы и, дружно сомкнувшись, бодро последует за своею

несокрушимою, единою, священною надеждою, за своим августейшим вождем.

Подсудимые чувствуют уже веревку на своей шее, но пышная и кичливая речь прокурора вызывает улыбку на их устах.

— Обвинительная речь, на мой взгляд, изложила сущность наших целей и средств совершенно неточно, — спокойно начинает „не пожелавший иметь защитника“ подсудимый Желябов: — Если вы, господа судьи, взглянете в отчеты о политических процессах, в эту открытую книгу бытия, то вы увидите, что русские народолюбцы не всегда действовали метательными снарядами, что и в нашей деятельности была юность, розовая, мечтательная... И если она прошла, то не мы тому виной...

— Вы не имеете права говорить о вашей партии, говорите только о себе,—перебивает Желябова председатель.

Полный бодрости и достоинства вид А. И. Желябова, его улыбка, его бесстрашие, вызывают резкую злобу против этого человека, которого нельзя ничем запугать.

— Меня останавливает, — жалуется в своей речи на суде прокурор Муравьев, — смех Желябова! Это все тот же веселый или иронический смех, который не оставлял его и во время судебного следствия. Так и должно быть! — гремит прокурор: — Ведь, когда люди плачут, — Желябовы смеются.

Также злобно кидается резвый прокурор и на Софью Перовскую. Она, Перовская, — кровожадна, она — „безнравственна“. Это ясно. Но какова же партия? Если правда, что „русскому человеку даже в социально-революционном деле нужно начальство, и без начальства он никак не может обойтись“, — то как же случилось, что
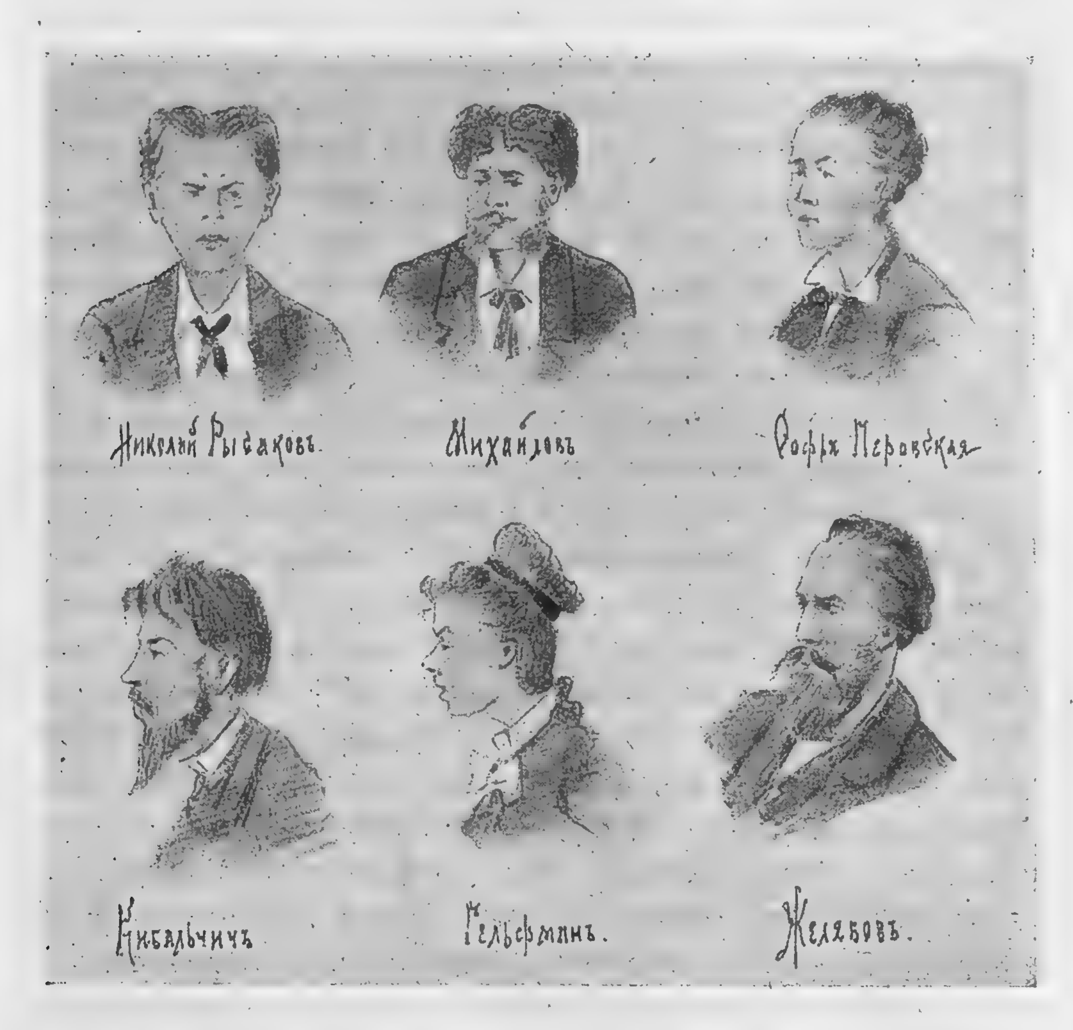
после ареста Желябова „у Исполнительного Комитета не нашлось более сильной руки, более опытного организатора, чем София Перовская?“

* * *

София Львовна Перовская, первая русская женщина, казненная по политическому делу, по происхождению своему является аристократкой. Она правнучка последнего малороссийского гетмана Кирилла Разумовского. И дед ее, и отец — занимают губернаторские посты. Отец ее является губернатором в столице, том самом Петербурге, на площади которого повешена София Перовская.

Требовавший казни С. Л. Перовской и добившийся своей цели прокурор Н. В. Муравьев, впоследствии прославивший свое имя на посту министра юстиции,—когда-то был товарищем ее детских игр. Родители С. Л. Перовской и Н. В. Муравьева были сослуживцами, жили рядом. Когда-то Соня Перовская и Коля Муравьев были неразлучны во всех играх и забавах. Как резко разошлись жизненные пути этих друзей детства! Соня Перовская презрительно отбросила от себя пышность той среды, в какой она выросла, отвернулась от золоченой мишуры „высшего света“, отдала все свои силы интересам народа и революции, превратилась в аскетку-революционерку, отдала самую жизнь своему делу, и вот теперь сидит на скамье подсудимых, спокойно ожидая виселицы. Коля Муравьев — всемерно делает блестящую карьеру. Он хочет быть министром. Такие люди самодержавию нужны. Министром он будет, и на министерском посту прославит свое имя не только черносотенством и циничным издевательством над правосудием, но проявит себя еще и как взяточник и вор.

По разным путям пошли товарищи детских игр. Здесь, в зале суда пути пересеклись, и Коля Муравьев, обвини-



На скамье подсудимых.

(Зарисовки, сделанные в зале суда А. А. Насветевичем).

тель, не только будет требовать во что бы то ни стало смертной казни для друга своего детства, Сони Перовской, но еще и станет говорить в своей речи о „кровожадности“ и даже о „безнравственности“ этой закоснелой злодейки.

С точки зрения Н. В. Муравьева, — С. Л. Перовская не может не казаться безнравственной.

— Редкое соединение женственной мягкости с мужской суровостью, — так характеризуют С. Л. Перовскую воспоминания Веры Фигнер:—Это была девушка с небольшой русой косой, светло-серыми глазами и по-детски округленными щеками. Лицо Софьи Львовны отличалось необычайной простотой и чрезвычайной привлекательностью. Доброта сквозила из всех черт ее лица, и, когда она говорила и улыбалась, каждого невольно влекло к ней. Во всем ее белом, миловидном личике было много юного, простого и напоминающего ребенка. Этот элемент детского в лице, несмотря на трагические минуты, какие она переживала,—сохранился у нее до конца.

„Блондинка малого роста, около двадцати двух лет. Одевается весьма прилично. Лицо чистое, красивое, брови темные“,—так описывает Софью Перовскую официальная справка департамента полиции. Эта „справка“ подробно перечисляет все подложные паспорта, по каким жила Перовская, перечисляет судебные процессы, в которых она, несмотря на свою молодость, успела выступить (дело о пропаганде 1875 г., дело кружка Чайковцев), перечисляет ее побеги (один—из Москвы и другой—со станции Волхов), ее деятельность и по проведению минной галлереи для взрыва царского поезда под Москвой в 1879 г., и по заготовлению динамита в 1880 г., и ее роль главного распорядителя в деле первого марта, где С. Л. Перовской пришлось, заменив арестованного Желябова, взять на себя роль капитана, главного распорядителя всего дела.

— При своей удивительной моложавости, Соня Перовская в двадцать шесть лет выглядела восемнадцатилетней

девушкой, — свидетельствует С. М. Степняк-Кравчинский:—Маленькая фигурка, стройная и грациозная, и свежий звонкий голос. Она была очень смешлива, и смеялась с таким увлечением, с такой беззаветной и неудержимой веселостью, что в эти минуты ее можно было принять за пятнадцатилетнюю девочку. И вот эта-то девушка, с такой скромной и невинной внешностью, с таким кротким и нежным характером, была одним из наиболее грозных членов грозной революционной партии.

После взрыва 1-го марта, Софья Перовская имела полную возможность спастись, скрывшись за границу. Но от этого она категорически отказалась. Если после случайного и преждевременного ареста Желябова Софья Перовская взяла в свои руки капитанскую роль, ибо это был ее долг,—то и теперь свой долг она сумеет выполнить до конца. Уехать за границу, скрыться и спасти свою жизнь,—очень легко. Но она предпочитает остаться, дождаться ареста, выступить на суде и пойти на виселицу вместе с товарищами. Пусть никто не смеет думать, что русский революционер боится смерти!

* * *

Величавое достоинство подсудимых со всей яркостью проявилось в зале суда.

Как ни полон злобы Н. В. Муравьев, но даже и ему приходится признать выдающиеся достоинства А. И. Желябова. — Перед нами — говорит он, — необычайно типичный конспиратор. Его жесты, мимика, движения, мысль, слово,—все революционное. В уме, бойкости, ловкости подсудимому Желябову, несомненно, отказать нельзя. Конечно, мы не последуем за умершим Гольденбергом, который называл Желябова личностью, не только высоко

развитой, но и гениальною. Не будем преувеличивать значение Желябова, но отдадим ему справедливость, он был создан для роли вожака!

Заботливо и умело подобрана публика, присутствующая на суде. Когда Желябов в своей речи заявил: „Я тоже имею право сказать, что я русский человек, как сказал о себе прокурор“, – судебный отчет отмечает в публике „движение, ропот негодования и шипение“.

С первого момента ареста Желябов держит себя не только с простым и естественным самообладанием, но и с исключительным достоинством. Мы знаем, как энергично настаивал он на своем праве на смерть, на непосредственном участии своем в деле цареубийства, как настойчиво напоминал, что он, „старый ветеран революции“, давно был занят делом цареубийства, и что только случайность, преждевременный арест, помешала ему принять непосредственное участие в деле первого марта.

— Убийство Александра II — это большой праздник, это величайшее благодеяние, — заявляет А. И. Желябов прокурору.

— Андрей Иванович — рисует А. И. Желябова Вера Фигнер,—имел атлетическую фигуру. Его голова была красивой головой типичного русского крестьянина. Общее выражение всей фигуры и лица были: мощь, энергия и сила воли. Серые глаза имели выражение смелости, а когда он шутил в товарищеской компании, они сыпали искры добродушного лукавства и насмешливости. Жизнерадостность была отличительным свойством Желябова.

— Это был здоровый, крепкий, вполне нормальный организм. Ни одна нота надломанности не звучала в нем. Иногда он способен был дурачиться и шалить, как ребенок. Бесконечной бодростью и энергией звучало каждое

его слово. В его наружности все было определенно и закончено. В нем не было решительно ничего утонченного. Это был прекрасный мужик, переработанный воспитанием и культурой.

В официальном отчете „Хроника социалистического движения в России“, составленном генералом Шебеко, находим такую характеристику Желябова: „Это был человек даровитый и действительно обладавший организаторским талантом, смелый, очень красноречивый, умевший заставить повиноваться себе. Он поступал во всем, как учитель, и рассматривал свои обязанности, как призвание, а свою деятельность,—как свой долг. Когда во время подготовительных работ для покушения, один из заговорщиков, утомленный ночной работой рытья мины, заснул, Желябов собирался убить его из револьвера. Он его рассматривал, как провинившегося часового, которому вверена была охрана драгоценного склада, и который заснул, вместо того, чтобы бодрствовать“.

Вчитываясь в биографию Желябова, ясно и четко видишь, что он прозревал далеко в будущее, и гораздо глубже оценивал положение, чем его современники. Даже Учредительное Собрание, на которое еще и через 35 лет, в 1917 году, молились, как на икону,—в глазах А. И. Желябова вовсе не является фетишем. „Учредительное Собрание в наших глазах только ликвидационная комиссия“,—говорит, напр., Желябов в одном из своих писем к М. П. Драгоманову.

Одно из главных и основных убеждений Желябова — это необходимость автономии для отдельных областей России. Федеративным союзом мечтается ему будущее родины. Уже в те годы он зорко видит, что именно в экономической сфере находятся ключи будущего. — „Таково

положение вещей",—читаем мы в том же письме к Драгоманову,—„что исходишь от реальных интересов крестьянства, признаешь его экономическое освобождение за существеннейшее благо, а ставишь ближайшей задачей требования политические. Видишь спасение в распадении империи на автономные части, а требуешь Учредительного Собрания". Эта внешняя непоследовательность не пугает А. И. Желябова.—„Не велика заслуга перед отечеством аскета, хранителя общественного идеала,"—пишет он. — „Мы, по крайней мере, предпочли быть мирянами!"

* * *

Исключительно трогательное впечатление производит любовь, связывавшая Желябова и Перовскую. Семьи, очага, уюта, — всего этого не было и не могло быть у людей, отдавших всю жизнь делу борьбы, делу революции. Но любовь, нежная, пламенная, была, и те клочки личного счастья, какие судьба послала этим сильным и смелым людям, отличаются исключительной поэтичностью.

А. Тун, в своей „Истории революционных движений в России", со всей солидностью немецкого гелертера констатирует: „Желябов, статный, красивый мужчина с энергичными чертами лица и роскошной окладистой бородой, в последние годы был в близких отношениях с Перовской. Она соответствовала ему во всех отношениях, и он высоко ценил ее ум и ее характер, и видел в ней лучшего товарища, но о семейном счастье не могло быть и речи при постоянной тревоге и массе занятий".

Трудно спорить, что ничего похожего на тот идеал семейного счастья, какой свойствен немецкому профес-

сору,—в отношениях Желябова и Перовской не было Но от этого не делается меньше подлинная поэтичность, чарующее обаяние этой любви. Когда Софью Перовскую после дня 1 марта уговаривали уехать за границу или хоть на время скрыться куда-нибудь из Петербурга, „она никого не хотела слушать“. Судьба, ожидающая Желябова, ясна, и Перовская „вилась над ним, как вьется птица над головой коршуна, который отнял у нее птенца, пока сама не попадет к нему в когти“.

Около года успели провести Желябов и Перовская мужем и женой до своего ареста. „Она была для него действительно женой в его смысле“,—свидетельствует Лев Тихомиров,—„а он серьезно смотрел на это дело. В таком положении, в каком находились оба они, серьезное чувство едва ли способно дать что-нибудь, кроме горя, но на Желябова с женой все-таки было приятно взглянуть“... — „Чувство Перовской“ — говорит далее Тихомиров—„было безгранично глубоко, и только такая натура, как у нее, способна вынести его, не утратив других гражданских чувств“.

Есть что-то символическое в нежной любви, связавшей этих людей. Желябов, сын крепостного мужика, чье детство прошло во дни крепостной зависимости, под сумасшедшей властью помещика, и Софья Перовская, вышедшая из рядов высшей аристократии, с детства знающая сановную и придворную среду, они оба одинаково полностью прошли весь искус жизни революционера того времени Оба одинаково пережили и эпоху „хождения в народ“, и „процесс 193-х“, и жизнь по рецепту Рахметова из „Что делать“ Чернышевского... Вместе жили, вместе боролись, вместе и покончили свои дни на виселице Желябов и Перовская.

Среди воспоминаний современников за этот период останавливает внимание необычный эпизод встречи Нового Года. Уже арестован, обреченный окончить свои дни на виселице, член Исполнительного Комитета Квятковский. На новой конспиративной квартире встретить наступление Нового Года собралась вся старая гвардия революции. Здесь А. И. Желябов и София Перовская, здесь и Николай Морозов, и Геся Гельфман, и Михаил Фроленко...

Они все „видали виды“, эти стальные люди. Но в этот вечер условлено быть легкомысленными. Имеют же право, чорт возьми, и революционеры раз в жизни „без борьбы, без думы роковой“ легкомысленно провести вечер встречи Нового Года!

На круглом столе посередине комнаты—суповая чашка. Кто-то принес ром, сахар, лимон. Предстоит жженка.

Как ни необычен этот легкомысленный вечер, но конспиративные привычки соблюдаются свято. Пусть жильцы в нижнем этаже не подозревают, что здесь много народу.

Когда ром зажгли и потушили свечи,—трепетное пламя освещает суровые лица обступивших его революционеров. Здесь все поседевшие в боях воины революции. Та старая гвардия, которая умирает, но не сдается. Часы бьют двенадцать. — Ваше здоровье, товарищи! За свободу, за родину! Пусть эта чаша будет последней чашей неволи!

Все ярче вспыхивает красноватым отблеском пламя жженки. Как ни строго соблюдаются правила конспирации, нельзя удержаться от того, чтобы не спеть хором марсельезу. Поют негромко, с осторожностью. „Вставай на врага, брат голодный“. И осторожно, соблюдая конспирацию, обменявшись крепким товарищеским рукопожа-

тием, по-одиночке, чтобы не привлекать внимание дворника и полиции, расходятся революционеры. Праздник кончен. Идут будни, суровые, мучительные, кровавые.

* * *

Не менее яркую фигуру, чем Желябов и Перовская, представляет собой и сидящий с ними на скамье подсудимых Н. И. Кибальчич.

— Ту изобретательность, которую я проявил по отношению к метательным снарядам, — говорит на суде Кибальчич, — я, конечно употребил бы на изучение кустарного производства, на улучшение способа обработки земли, на улучшение сельскохозяйственных орудий и т. д.



Н. И. Кибальчич.

Не он, Кибальчич, хотел этого. Но так как обстоятельства властно требовали борьбы, то Кибальчич своей роли не затушевывает. „Я участвовал в покушениях на царя и под Москвой, и в Александровске, и под Одессою. Всякий раз, когда являлась надобность приготовлять динамит, я участвовал в этом“.

— Знали ли вы, для какой цели готовился динамит? — спрашивает прокурор.

— Я, конечно, знал, и не мог не знать, приготовляя динамит, для какой цели он предназначается, — со всей готовностью подтверждает подсудимый.

481—3

Н. И. Кибальчич — типичный кабинетный работник. Интересует его в жизни больше всего его лаборатория, его кабинет, его книги. Кроме глубокой любви к химии, области, в которой он является специалистом, он занят еще и философскими работами. Самоучкой успел он изучить и французский, и немецкий, и английский языки.

Все, что он делает, он делает серьезно и основательно. По характеру, Кибальчич флегматичен. Говорит он медленно, „как будто по складам", и мало, но уж то, что он скажет,—то скажет по-настоящему и навсегда.

Какой-то особенной искренностью, святой правдивостью отличается эта хрустальная душа. Он необычайно доверчив. Всех, без исключения, считает он хорошими людьми. Ему и в голову не приходит, что его могут обмануть.

Необычайная рассеянность Кибальчича часто делает его „предметом насмешек молодых девушек". Если Кибальчич это замечает,—он спокойно и серьезно объясняет им, что они „повинны в недопустимом легкомыслии".

Кибальчич не знал личного счастья. По его словам, он „никогда не ощущал в этом потребности". Женщин он не знает. „Все они любят, чтобы ими занимались и ухаживали за ними",—медленно, с расстановкой говорит Кибальчич:—„Я не понимаю этого. Да и времени у меня нет".

— Не было никакой возможности расшевелить Кибальчича, заставить его разговориться,—говорит о нем в своих „Записках" Ольга Любатович.—Его не только не занимал разговор, но не занимали также газеты и журналы. Он никогда их не развертывал и не трогал.

У Кибальчича нет друзей, нет привязанностей. Все его интересы в одной лишь науке. Только самодержавие

могло из этого мирного кабинетного ученого сделать убежденного революционера и крупного террориста.

Кибальчич всей душой любит знание. Всякая практическая деятельность, в том числе и революционная, ему по характеру глубоко чужда. Но он серьезно обдумал положение, и ясно знает, что это его долг. Революционеры нужны. „Россия обратилась бы в стоячее болото, если бы в ней не появились люди, с самоотвержением заявляющие свой протест". Без этого для России наступила бы „нравственная смерть".

По воспоминаниям А. Тыркова, прокуратура и жандармы, относясь с особенной ненавистью к Перовской и Желябову, о Кибальчиче отзываются сдержанно, уклоняясь даже от разговора о нем. Он был слишком философ, вел себя, как человек, стоящий вне партийных страстей, руководствующийся исключительно научным анализом современности. Когда его арестовали, он сейчас же принялся за свои чертежи, касающиеся проекта воздушной лодки и, пока ему не принесли бумаги, чертил прямо на стене камеры.

В научной сфере исключительно тонкий и находчивый ум,—в будничной жизни Кибальчич совершенно непрактичен и беспомощен. Геся Гельфман хохочет до слез, рассказывая, как однажды, когда „собралось несколько человек, и все были голодны, Кибальчичу поручили принести съестного. После долгих поисков, он умудрился принести... красной смородины. Больше ничего так и не придумал".

Человек перед нами — далекий от реальной жизни. Но на суде он проявляет совершенно исключительное мужество. Защитник его, В. Н. Герард, в своей речи в особом присутствии сената рассказал:—„Когда я явился

к Кибальчичу, как назначенный к нему защитник, меня прежде всего поразило, что он был занят совершенно иным делом, ничуть не касающимся настоящего процесса. Он был погружен в свои изыскания о воздухоплавательном снаряде, и хотел только того, чтоб ему дали возможность записать свои математические изыскания об этом изобретении“.

Даже в своем последнем слове, в решительный момент смертного приговора, М. И. Кибальчич думает и говорит „о своем“: „Я имею сделать заявление о своем проекте воздухоплавательного аппарата. Я полагаю, что этот аппарат вполне осуществим“...

Н. И. Кибальчич совершенно ясно понимает, что через несколько минут ему будет вынесен смертный приговор: „Так как я“, — говорит он в последнем слове на суде,— „вероятно, уже не буду иметь возможности выслушать взгляда экспертов на свой проект и, вообще, не буду иметь возможности следить за его судьбой,—то я теперь публично заявляю, что проект мой, в подробном изложении, с рисунками и вычислениями, находится у моего защитника, Герарда“.

Уже и после приговора, накануне смерти, Н. И. Кибальчич заботится только о своем проекте воздухоплавания. Как Архимед, поглощенный судьбой своих кругов, Кибальчич перед смертью обращается к министру внутренних дел с просьбой о дозволении повидаться с кем-либо из членов технического комитета, чтобы поговорить с ним о судьбе воздухоплавательного аппарата. Но психология Архимеда полицейским чинам чужда. Совершенно ясно, что министр оставляет эту предсмертную просьбу „без последствий“.

Накануне казни Н. И. Кибальчич оторвался, впрочем, на время от мыслей о воздухоплавательном аппарате,

чтобы написать письмо Александру III, сыну того человека, который был убит бомбой, сделанной им, Кибальчичем. „Нужно навсегда оставить систему преследования за пропаганду социалистических идей“,—пытается убедить Н. Кибальчич грозного самодержца, — „нужно, вообще, дать стране свободу слова и печати. Социальная партия, вместо работы разрушительной, сделавшейся ненужной, принялась бы тогда за мирную созидательную работу на ниве своего родного народа!“.

„Нового ничего нет“,—гласит собственноручная надпись, сделанная Александром III после прочтения предсмертного письма Н. И. Кибальчича: — „Нового ничего нет. Фантазия больного воображения и видна во всем фальшивая точка зрения, на которой стоят эти социалисты, жалкие сыны отечества“.

Н. И. Кибальчич ни о чем для себя не просит. Беспокоит его только судьба его изобретения. Он мечтает, что после того, как его повесят, его изобретение пойдет на пользу людям, и просит, чтобы его проект был передан на рассмотрение технического комитета. Но департамент полиции полагает, что как ни было ценно и значительно это „изобретение государственного преступника“, но, в случае передачи на рассмотрение ученых, оно „может вызвать неуместные толки“.

Неуместных толков сумели избежать. Проект Кибальчича со всеми подробностями об его изобретении запечатали казенной печатью, подшили к делу, и так и оставили. Только через 35 лет после революции, в 1917-м году, когда аэропланы уже бороздили воздух по всему свету, „дело“ об изобретении Н. И. Кибальчича было найдено в архиве департамента полиции.

* * *

Особняком среди подсудимых по делу 1-го марта стоит Геся Гельфман. „Поэты не посвятят ей стихотворений, история не назовет ее имени, мир не сохранит памяти о ней, и, однако, без ее деятельности партия не могла бы существовать“, — говорит о ней „Подпольная Россия“. Скромная полезность, персонаж на вторые роли, мало интеллигентная, робкая и скромная, какую большую душу целиком отдала на служение делу революции эта „акушерка из мещан“ Геся Гельфман!



Геся Гельфман.

Как известно, ко времени вынесения смертного приговора всем подсудимым, Геся Гельфман ждала ребенка. До тех пор она стыдливо скрывала свою любовь, и ее брак с Колоткевичем, видным террористом, был неизвестен даже близким людям. Дольше скрывать оказывается невозможно. Медицинское освидетельствование удостоверило четвертый месяц течения беременности. Шум, поднятый европейской печатью по поводу присуждения к смертной казни женщины, готовящейся стать матерью,— сделал для самодержавного правительства немедленное приведение казни в исполнение невозможным.

Казнь Геси Гельфман была отсрочена. Виселица будет воздвигнута после наступления родов.

Пять месяцев томится Геся Гельфман, ожидая казни. В ее камере помещены несменяемые часовые. Этот прием, бессменная стража в камере женщины, не является новостью. Два жандарма безотлучно присутствуют и в камере Софьи Перовской. Еще недавно этим же способом оказалась доведена до умопомешательства Елизавета Оловенникова. Прием старый. Но на этот раз старый прием впервые применяется к родильнице. Начались роды, или нет,—это неважно.


Т. Михайлов.

Караульные солдаты не отходят от постели Гельфман ни на одну минуту.

Ребенок родился живым. У Геси Гельфман хватило сил, чтоб самой начать его кормить. Но уже через несколько дней после родов явившиеся ночью жандармы отняли у Геси Гельфман ребенка, и отправили его в воспитательный дом.

Не взят ни номер, ни квитанция, специально для того, чтобы ребенок, которого близкие люди надеялись взять на воспитание, навсегда пропал без вести, безвозвратно затерялся среди подкидышей.

С тем же выдержанным и гордым спокойствием, как Перовская, Желябов и Кибальчич, держит себя на суде и рабочий Тимофей Михайлов. Он не только признает себя виновным в том, что „принадлежит к террористическому направлению русской социально-революционной партии“, но и считает своим долгом простыми и без-

искусственными словами рассказать причины этого: —Теперича,—говорит стенографический отчет,—что меня побудило к этой социально-революционной партии принадлежать? Труд рабочего поглощается капиталистом, который эксплоатирует рабочего человека. Неужели рабочий человек должен всегда существовать так, как существует теперь? Когда я познакомился с социальным учением, я принял его сторону. Я принадлежу к боевой дружине, которая защищает рабочего человека!—заявляет судьям Т. Михайлов.

Как ярко и выразительно звучали все эти слова в те далекие дни!

* * *

Перовская, Желябов, Кибальчич... Как резко режет глаз рядом с ними фигура их товарища по процессу 1-го марта, Николая Рысакова, Этот маленький и жалкий обыватель испугался того, что он сделал, „сдал", и от страха перед грядущей казнью начал суетливо и тревожно давать жандармерии свои знаменитые „откровенные показания".

В самый день первого марта этот девятнадцатилетний юноша еще сохраняет самообладание, но второго марта Рысаков уже пал духом.—С этого дня и до самой смерти,—говорит один из главных исследователей дела первомартовцев, известный историк, подписавший свою работу инициалами П. Щ.,—тянется и развертывается нить откровенных показаний, которые с каждым днем становятся все откровенней и откровенней. Читая их подряд, чувствуешь, осязаешь, как выворачивалась его душа. В конце концов она была вывернута на изнанку в полном смысле этого слова. От него уже ничего не оста-

лось. К моменту физической смерти Рысаков уже давно был мертв; умертвил его животный страх смерти.

Жутко читать, как уверенно и хвалебно отзывается в своих показаниях о Рысакове А. И. Желябов. Когда Рысаков и Желябов на очной ставке предъявлены друг другу, Желябов радостно и дружески жмет руку Рысакова. Желябову и в голову не приходит, что Рысаков выдает.

— Рысаков,—говорит в своих показаниях А. И. Желябов,—заявил себя с первых шагов прекрасным агитатором среди рабочих. На мой взгляд в нем были большие задатки спокойного мужественного террориста, представлявшего из себя редкую нравственную силу. Когда Исполнительным Комитетом был сделан вызов добровольцев из боевых комитетских дружин, Рысаков рвался на это дело, и я рекомендовал комитету Рысакова с наилучшей стороны.

— Рысаков известен мне, как деятель, в высшей степени преданный революционному делу! — говорит об этом „юном герое" Желябов.

— На дело цареубийства,—свидетельствует Желябов,— Рысаков шел сознательно и добровольно, и взятую на себя роль он исполнил, поскольку мне известно и в чем я вперед был уверен,—с честью.

Такие же отзывы дает о Рысакове и Перовская.

— Я знаю Рысакова, и убеждена, что он ничего не скажет,—говорит она товарищам перед своим арестом.

Трудно представить себе более яркую картину человеческого падения, чем та, какую представляет собой поведение 19-летнего студента Рысакова. С каким-то упоением, с особым сладострастием он спешит на допросах выдать все, что знает, назвать все имена, вывернуть

наизнанку всю душу, только бы заслужить милостивую улыбку жандармов, только бы спасти свою драгоценную жизнь.

* * *

К Рысакову приставлен специалист по допросам, товарищ прокурора Добржинский. Это он, Добржинский, еще недавно сумел добиться „откровенных показаний“ у юноши Гольденберга.

Гольденберг так и остался единственным представителем бескорыстия в семье предателей. Для себя он, Гольденберг, не ждал ничего. Добржинский сумел убедить Гольденберга в том, что настала „новая эра“, в том, что царское правительство приняло решение пойти на встречу требованиям революционеров.—Как, вы еще ничего не знаете? Начинается новая жизнь. Предрешен созыв учредительного собрания.

— Настали великие, решающие, исторические дни!— говорит прокурор Добржинский юноше Гольденбергу:— поздравляю вас, юноша! Ваше имя и имена ваших товарищей-революционеров войдут в историю. С глубокой благодарностью будет вспоминать Россия вас, освободителей. Только бы вы сами не загубили уже одержанной вами победы недостаточной искренностью и скрытностью. Если вы хотите, чтобы правительство, вставши на новый путь, было искренно до конца,— так сумейте же быть искренними и вы. Теперь, с переходом России на новые рельсы, вы сами понимаете, никому из ваших товарищей ничего не грозит. Их ждет только благодарность освобожденного народа. Будьте же искренни и откровенны до конца! Не губите дела освобождения России!

Гольденберг поверил. Гольденберг был „искренним до конца“. Радостно взволнованный, с закружившейся от

счастья головой, он говорит, говорит все, что знает о героях освободительного движения. Гольденберг счастлив, Гольденберг чувствует себя героем. Только во время своей очной ставки с А. И. Желябовым, увидев в его глазах осуждение, Гольденберг засомневался, задумался и в ужасе кинулся к Добржинскому.

Как? Неужели? Неужели его обманули? Неужели он, Гольденберг, оказался предателем, выдавшим своих товарищей?

— Но ведь вы,—лепечет помертвевший Гольденберг, обращаясь, здесь же, в присутствии А. И. Желябова, к прокурору Добржинскому:—Но ведь вы говорили, что ни один волос не упадет с головы моих товарищей-революционеров!

Прокурор Добржинский весел. Прокурор Добржинский чувствует себя победителем. Все, что знал Гольденберг, от него уже удалось выведать. Теперь можно и не стесняться. Можно эффектным „номером" проучить мальчишку, и положить конец затянувшейся игре.

— Ни один волос с головы ваших товарищей, революционеров, и правда, не упадет,—медленно цедит сквозь зубы, наслаждаясь эффектом своих слов, Добржинский: — Ни один волос не упадет. Но голов революционеров скатится, конечно, много!

В тот же день отведенный к себе в камеру, Гольденберг покончил с собой. Это, впрочем, уже не важно. Показания Гольденберга остались. Прокурор Добржинский замечен. Прокурор обратил на себя внимание начальства. Карьера его, как умелого и опытного ловца душ человеческих,—отныне обеспечена.

После взрыва 1-го марта этого Добржинского, как специалиста-психолога, вызывают для допроса Николая Рысакова.

Добржинский польщен. Дело не шуточное. Необходимо придумать особо усовершенствованный способ. Надо во что бы то ни стало побудить к откровенным показаниям столь серьезного преступника, как этот цареубийца.

Но в изобретательности Добржинского, как оказывается, нет никакой нужды. Рысаков и сам, без всяких побуждений, спешит дать наиоткровеннейшие показания, выдает все и вся, выдает с упоением, захлебываясь.

Нечего тут делать опытному жандармскому психологу Добржинскому. Любой писец из полицейского участка, паспортист, младший дворник, и тот годится для отобрания показаний у этого, охваченного страхом, трепещущего предателя.

Рысаков выдает все, что знает, торопливо и радостно. Он надеется спасти этим усердием свою жизнь, и жандармы охотно, с улыбочкой поддерживают в нем эти надежды. — Старайтесь, молодой человек. Там видно будет.

Молодой человек старается во-всю. Нет имени, известного ему, которого бы он не назвал, нет адреса, которого бы он не указал.

В свое время, когда Рысаков выскажется весь и будет с жандармской точки зрения использован до конца, как выжатый лимон,—Рысакова, конечно, повесят. Благодарность и вообще всякая „лирика“ чужды жандармскому сердцу. Но пока Николай Рысаков тешится надеждой на помилование.

Даже после приговора, накануне казни, Рысаков пишет все новые показания, в которых указывает все новые имена. Он просит „выпустить его на волю года на полтора“, чтобы он мог „специально заняться розыском и выдачей террористов“. Николай Рысаков

уверяет, что на службу к жандармам он идет отнюдь не во имя выгоды и спасения своей шкуры, а исключительно „с идейными целями“. Он, Николай Рысаков, теперь понял, что террор недопустим, он полон „сознательной ненависти“ к террору, и именно поэтому желает в союзе с жандармами бороться с террористами.—Я даже согласен покрыть свое имя несмываемым позором,—со всей готовностью пишет в своем заявлении Рысаков.

„Тюрьма сильно отучает от наивности и неопределенного стремления к добру“, — объясняет Рысаков.—„До сегодняшнего дня я выдавал товарищей, имея в виду истинное благо родины. Сегодня я—товар, а вы—купцы Но, клянусь вам богом, что и сегодня мне честь дороже жизни“.

Чтобы усилить доверие к себе жандармов, Рысаков обещает, в случае если его отпустят на свободу, действовать уже не только оговором, но еще и непосредственной выдачей террористов полиции из рук в руки.

„При этом я обязуюсь каждый день являться в жандармское отделение, и заранее уславливаюсь, что содержание лучше получать каждый день“.

„Видит бог, что я не смотрю на агентство цинично. Я честно желаю его, надеясь загладить свое преступление“.

„Для моего помилования я должен рассказать все, что знаю,--обязанность с социально-революционной точки зрения шпиона. Я и согласен“.

До крайних пределов растления доходит эта убогая, извивающаяся душа. В показании 13-го марта Николай Рысаков считает, например, необходимым указать, что он, „не такой чистый социалист, как ученые социалисты“, что он,—„сторонник мирной пропаганды“, — страдает хронической гонорреей. Рысаков рассчитывал, что эта его

болезнь должна послужить смягчающим его вину обстоятельством.

В дальнейшем, Николай Рысаков от такого способа защиты отказался. Виноват в этой идее, будто бы, не он, а его защитник: „Защитник мой, г. Унковский, указал на триппер, которым я был болен, как на средство, смягчающее мою участь, как на единственное средство, которое может спасти мне жизнь. Я вполне не сочувствую такому способу защиты, могущему даже скандализировать меня!“ — заявляет Рысаков 18 марта.

— По моему взгляду, — говорит на суде Рысаков, — чистый социалист-революционер должен воздерживаться от революционной борьбы!

Накануне смерти Николай Рысаков, „вполне сознавая весь ужас злодеяния, совершенного под давлением чужой злой воли“, спешит „всеподданнейше просить всемилостивейшего государя“ даровать ему жизнь „единственно для того, чтобы он имел возможность тягчайшими муками, хотя в некоторой степени, искупить свой великий грех“.

„Умоляя о пощаде, — пишет Н. Рысаков, — ссылаюсь на бога, в которого я всегда веровал и ныне верую“. И заканчивает прошение под занавес такой подписью:

„С чувством глубочайшего благоговения имею счастье именоваться до последних минут своей жизни

вашего императорского величества верноподданным Николаем Рысаковым“.

* * *

Обвинительный акт по делу первого марта умудряется совместить казенную форму с особого рода жандармской лирикой: „Совершилось неслыханное по гнусности своей, величайшее злодеяние, жертвою которого пал его импе-

раторское величество, государь император Александр Николаевич". В тех же казенно-лирических тонах рисует обвинительный акт и картину взрыва. „Пораженным взорам присутствующих представилось ужасающее зрелище. Прислонившись к решетке канала, упершись руками в панель, без шинели и без фуражки, полусидел на ней возлюбленный монарх, окровавленный и трудно дышащий. Обнажившиеся ноги венценосного страдальца были раздроблены. Кровь сильно струилась с них, тело висело кусками, лицо было в крови. Неисповедимые пути промысла свершились".

Все подсудимые по делу 1-го марта, кроме Рысакова, ведут себя на суде, как и на допросах, с совершенным спокойствием и исключительным достоинством.

— Никаких объяснений давать не желаю. Отвечать на заданные мне вопросы не желаю, — вот главное, чем заполнены показания и Желябова, и Перовской, и Кибальчича. Свою роль в деле убийства Александра II каждый из них признает полностью.—На мою долю выпала честь сорганизовать нападение, — говорит Желябов: —Царский суд не в праве судить нас. Он является судьей в собственном деле,—указывает А. И. Желябов:—Подлинный суд общественной совести не только вынес бы нам оправдательный приговор, как вынес его Вере Засулич, но и „выразил бы нам признательность отечества за особенно полезную деятельность".

Так же точно, с гордостью, говорит о своей роли в деле 1-го марта и София Перовская: „Да, я в продолжение нескольких месяцев занималась слежкой за каждым шагом убитого царя. Метательные снаряды для убийства принесла и распределила я. План размещения участвовавших в убийстве, сигнал, когда приступить к делу, сде-

лан мною“,—заявляет Перовская. Откуда принесены бомбы, кто еще участвовал в деле и т. п.,—на все эти вопросы С. Л. Перовская отвечает формулой: „Отвечать не желаю“.

Так же точно ведет себя во время допросов и Н. И. Кибальчич.

— Признаю, что это я сделал все части метательных снарядов, которые были брошены под карету императора. Изобретение устройства этих снарядов принадлежит также мне. Динамит и прочие взрывчатые вещества во всех случаях покушений на Александра II сделаны мною. Относительно соучастников показывать не желаю,—такой формулой заканчиваются все протоколы допросов.

Пытали ли подсудимых? Обывательская молва утверждала, что к пыткам прибегли уже после процесса, когда подсудимые, кроме палача и тюремщиков, не могли больше увидеть ни одного живого человека.

Прокламация тех дней, под названием „Суд и пытка“, подтверждает эти сведения. „Кончился этот знаменитый гласный, скорый, правый и милостивый суд“,—говорит эта прокламация:—„прочитали приговор о смертной казни, и вот началось то злодейское, ехидное и подлое истязание, которое в средние века называлось пыткою. По пути на место казни осужденные пробовали во всеуслышание кричать народу о перенесенных мучениях, но только одному Рысакову удалось произнести ужасающие по лаконизму слова: „Нас пытали!“ Барабанный бой прекратил дальнейшее“.

* * *

В свое время пятью виселицами декабристов начал свое царствование Николай I. Так же точно, пятью виселицами народовольцев начал свою деятельность монарха

и Александр III. „Такие виселицы становятся распятиями“,—писал в свое время Герцен.

Накануне казни осмелился отозваться на предстоящую кровавую расправу Владимир Соловьев. В своей публичной лекции, назначенной на 28 марта 1881 года в зале Кредитного общества в Петербурге, Соловьев со своей особой, христианской точки зрения откликнулся на предстоящее событие.

„Высокий, тонкий, еще бледнее обыкновенного“,— описывает Владимира Соловьева в этот вечер один из слушателей:—„его удивительные глаза светятся глубоким внутренним светом“.

— Там, за белыми каменными стенами—говорит с кафедры Соловьев—там идет совет о том, как убить безоружных. Они безоружные, эти подсудимые, узники. Но, если месть действительно свершится, если русский царь, вождь христианского народа, поправ заповеди, предаст их казни, если он вступит в кровавый круг,—то русский народ не может за ним идти. Народ от него отвернется, и пойдет по своему, отдельному пути!

— Тебя первого казнить, изменник, тебя первого вешать, злодей!—сразу же отозвался в ответ на эти слова Соловьева из залы кто-то из представителей „христианского народа“.

* * *

Казнь первомартовцев обставлена помпезно, со всею торжественностью, до какой только могли додуматься режиссеры Зимнего Дворца. Об этом спектакле, назначенном на 3-ье апреля, официально объявлено заблаговременно. Зрелище, вопреки традиции, назначено не на рассвете, а в 9 часов утра. Казнь будет совершена всенародно. Ни билетов, ни особых приглашений для лиц,

желающих полюбоваться зрелищем, не требуется.—Вход свободный. Места на Семеновском плацу много.

Режиссеры стараются во-всю. Дирекция не останавливается ни перед какими затратами.

Везут на место казни осужденных в особых „позорных колесницах“, вышиной около двух сажен. Преступники привязаны наверху. „Чтоб всем видно было“. Они в казенном костюме каторжников. На груди у каждого большая черная доска с четкой белой надписью: „Цареубийца“.

Гвардейцы, уланы, гренадеры, полиция, жандармы. Пышный кортеж неторопливо следует по Литейному проспекту, по Кирочной и Надеждинской. Во-всю бьют барабаны, чтобы заглушить обращения преступников к толпе. Что хотели сказать толпе осужденные, в этих своих последних, заглушенных барабаном речах?

И Кибальчич, и Желябов, и София Перовская от исповеди и причастия отказались, но пропустить случай продемонстрировать тесную связь самодержавия с православием правительство не желает.

За „позорными колесницами“ едут кареты с представителями духовенства. На этом не экономят! На предмет „последнего утешения“ командированы пять священников. На каждого из осужденных полагается свой, отдельный священнослужитель. Но и на козлах карет, в которых едут эти пять священников, тоже, как оказывается, священнослужители. Каждому лестно во благовремении полюбоваться, как именно среди бела-дня, при всем честном народе удавят намыленной веревкой людей.

По пути следования процессии в разных местах размещены запасные роты солдат. Всего таких рот разме-



Зарисовка с натуры.
(с акварели Насветевича).

щено — ни много, ни мало, — четырнадцать. Береженого, как говорится, и бог бережет.

Во все время пути до места казни неумолчно бьют барабаны и взвизгивают флейты. „Музыка эта“ — читаем мы в воспоминаниях Г. К. Градовского: — „казалась каким-то адским призывом к позорному делу. — Спешите! Сбегайтесь смотреть, как мы, толпой, вооруженные, будем издеваться над беззащитными, и станем душить их, не щадя и женщины. — Редкое зрелище, пожалуйте! Не пропустите случая! Останетесь довольны“.

— Везут, везут! — кричат со всех сторон, и публика кидается к окнам. — На шум, — рассказывает Г. К. Градовский, — прибежала бледная, взволнованная 12-ти-летняя девочка.

— Их везут на казнь? Их, значит, убьют? А те, что убьют, тем ничего не будет?

В эти дни возник было план освободить первомартовцев, когда их повезут на казнь. План этот выдвинут военно-революционной организацией, созданной Желябовым в 1880 году. Первыми участниками военной группы были лейтенант Суханов, барон Штромберг и Рогачев. Все они впоследствии были казнены.

Кроме Петербурга военно-революционные группы были основаны и в Кронштадте, и в Одессе, и в Николаеве, и в Тифлисе. Главную роль играет здесь Н. Е. Суханов.

Военная группа, создавая свой план освобождения первомартовцев, рассчитывает, главным образом, на помощь рабочих. Агитация в войсках задевает пока только офицерскую среду, и сама по себе она считает себя бессильной. Надо собрать человек триста петербургских рабочих, разделить их на группы, и тогда во главе их станут офицеры и осуществят свой тактический план:

пока одна группа рабочих произведет замешательство на пути процессии к месту казни,—другая группа должна окружить колесницы, отрезав их от сопровождающих войск. Тогда офицеры, обрезав веревки на осужденных, увлекут их в толпу, где будут ждать их кареты с платьем для переодевания.

Нужное число рабочих отыскать удалось, но план, как известно, так и не осуществился.

Пышная процессия без помехи следует по улицам, переполненным народом. Громыхают, покачиваясь на ухабах, высокие двухсаженные „позорные колесницы“. Ярко и радостно светит весеннее солнышко. Толпы гуляющих и любопытных заливают улицы. Блестят нарядными мундирами лейб-гвардейцы Измайловского полка, кокетливо шевелятся от весеннего ветерка жандармские кивера, лихо гарцуют казаки. Совсем, совсем, как карнавал где-нибудь в иноземном, улыбающемся городке на берегу лазурного моря.

Эшафот, воздвигнутый на Семеновском плацу, для торжественности выкрашен в черную краску. Эшафот высокий, на шесть ступеней. В черную же краску выкрашены и возвышающиеся среди эшафота два высокие столба с перекладиной,—общая виселица для всех осужденных. Тут же пять черных деревянных гробов с парусиновыми саванами.

Эшафот окружен цепью войск. Строго соблюдая равнение, недвижными колоннами стоят казаки, кавалерия, пехота. Для верности вокруг конные жандармы. Дальше вся площадь залита толпой. Несметное число зрителей обоего пола, всех возрастов и сословий, сгрудилось тесной и непроницаемой стеной. Смотрят внимательно, глаз не оторвут. Многоликий, бесцветный, молчаливый, загнан-

ный и забитый обыватель пришел смотреть, как удавят тех, кто умеет жертвовать своей жизнью. Вмешиваться в дело, выражать свой протест,—он, обыватель, не собирается. Его дело маленькое. Его хата с краю. Он—делу сторона. Проявлять то или иное отношение к зрелищу убийства он, обыватель, не станет. Но поглазеть на процедуру казни лестно.

На особой, построенной рядом с эшафотом платформе—„почетные места".

Здесь, на этой платформе рядом с эшафотом размещена „знать". Здесь не только представители жандармерии и судебного ведомства, но еще и „знатные иностранцы", члены посольских миссий, любопытные из дипломатического корпуса. Так именно, в Гонолулу и Тимбукту, туземцы занимательным зрелищем, казнью своих сограждан, угощают знатных гостей, иностранцев.

* * *

Позорные колесницы уже прибыли к эшафоту. Герой дня, „знаменитость", выступающий гастролером палач Фролов уже отвязывает привязанных на первой колеснице, связанных вместе Желябова и Рысакова. К Фролову прикомандированы особые помощники: 4 арестанта, каторжники в нагольных тулупах.

Все осужденные в черных арестантских халатах. На них бескозырки, плоские арестантские шапки.

— На кра-ул! — гремит команда. Все в порядке, и градоначальник имеет честь известить прибывшего прокурора судебной палаты, В. К. Плеве, что преступники уже к позорным столбам привязаны. — Можно начинать.

В будущем этот прокурор В. К. Плеве окажется, как известно, всесильным. Безвольный, трусливый Николай II,



На Семеновском плацу.
(Рисунок с натуры А. Насветевича).

призвав его на пост министра внутренних дел, даст ему огромные, воистину неограниченные полномочия. Но эта сумасшедшая власть над Россией не спасет В. К. Плеве, как не спасла и самого Николая. В будущем и он, В. К. Плеве, погибнет от руки революционера, и после взрыва бомбы будут лопатками собирать с мостовой Петербурга комки слизи, единственное, что останется от Плеве и его политики. Но теперь, в день казни первомартовцев, В. К. Плеве молод, весел и самоуверен. Четко чеканя слова, В. К. Плеве, любуясь собой, приказывает приступить к совершению акта правосудия.

Приговор прочитан. Мелкой дробью бьют бесчисленные барабаны. Священники в пышном облачении спешат „принести последнее утешение“ приговоренным. Но утешать осужденных не приходится. Они бодры и спокойны. Легкая улыбка играет на лице А. И. Желябова. Ясно и спокойно оглядывает глазеющую толпу София Перовская. Сосредоточенно думает о чем-то своем Н. И. Кибальчич.

На эшафоте все подсудимые успевают проститься друг с другом и обменяться прощальными поцелуями. Пред лицом смерти они не хотят брать на себя роли судьи: даже с Рысаковым все они прощаются, как с равным. Только Перовская оказалась не в силах преодолеть свое отвращение к предателю. Когда Рысаков потянулся к ней, — Перовская отвернулась. Есть вещи, которые не прощаются и не забываются и в предсмертные минуты.

Палач Фролов уже снял поддевку. Он в „традиционной“ для палача красной рубашке.

— Ну, что ж, господи благослови. Пора за дело.

Один, другой, третий... На каждого из осужденных набрасывается саван с капюшоном. Петли привязаны. Начали с Кибальчича.

— Тяни, леший. Вышибай из-под него скамейку, чорт косопузый. Так. Молодца, — готово. Давай сюда следующего.

Ожидающие очереди осужденные в своих белых саванах стоят в ряд. Этой зловещей парусиновой преградой они уже отделены от белого света, от живой жизни.

Во все время процедуры не переставая бьют громкую дробь бесчисленные барабаны.

„Сдал“ один только Рысаков. Этот предатель, цеплявшийся за жизнь путем „откровенных показаний“, продолжает цепляться за нее и на эшафоте. „Будучи сталкиваем палачем со скамьи, Рысаков несколько минут старался ногами задержаться за скамью. Помощники палача, видя отчаянные движения Рысакова, стали отдергивать из-под его ног скамью, а палач Фролов дал его телу сильный толчок вперед“. Только тогда „тело преступника, сделав несколько медленных оборотов, повисло рядом с трупом Желябова и другими казненными“.

Первым был повешен Кибальчич. Ему п о в е з л о. „От быстрого и резкого выдергивания ступенек из-под ног и тяжести тела произошло повреждение шейных позвонков, и смерть была моментальной, без судорог“.

Вторым вешают Михайлова. Этот оказывается неудачником. Через несколько секунд после отнятия из-под его ног скамейки петля разорвалась, и Михайлов упал на настил эшафота.

Грозный гул несется по обывательской толпе зрителей. Пока казнь совершалась „в порядке“, и по царскому приказу среди бела-дня безоружных давили умело,—обыватель был спокоен. Все было „по закону“. Но вот теперь веревка перервалась, Михайлова станут вешать

второй раз, и обыватель полагает, что это уже—беспорядок. Глас народа пытается даже впутать в дело божественные силы. — Это-мол свыше, от бога указание. Не иначе, как приговоренный помилованию подлежит.

— Э-эх, даже и повесить-то у нас, в России, не умеют!—воскликнул полстолетия назад, также сорвавшись с петли и крепко выругавшись, декабрист С. Муравьев...

Т. Михайлов не ругается и ничего не говорит. Несмотря на связанные руки, на саван, стесняющий движения и на капюшон, закрывающий глаза, Михайлов поднимается собственными силами. Помощник палача снова взводит Михайлова на ступеньки виселичной скамьи. Здесь надо подождать. Палач Фролов делает новую петлю.

— Еще раз, что ли, ее, подлую, закрепить?

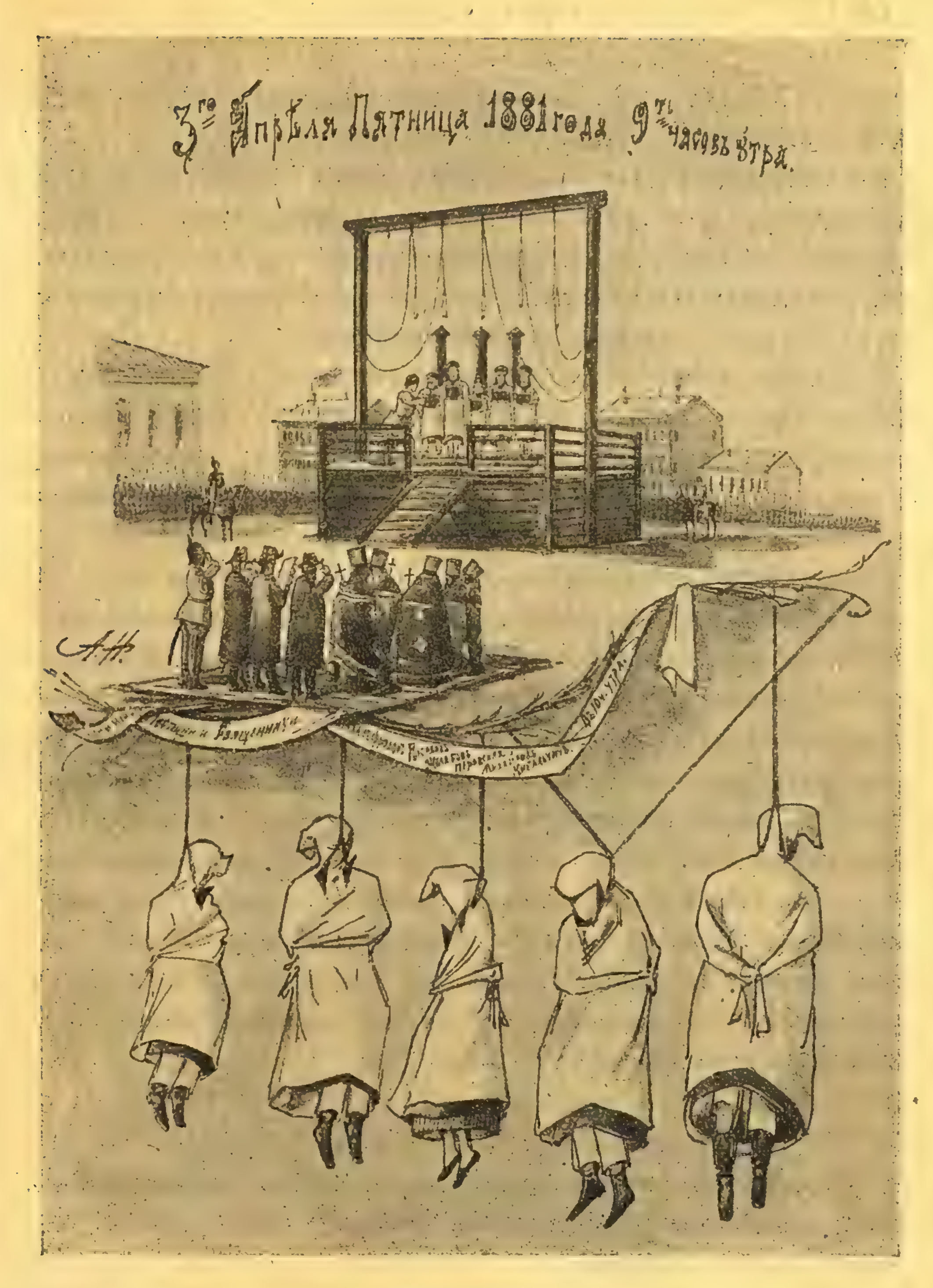
Несколько минут привычной работы, и вот Михайлов снова повис. Но непрочны казенные веревки в царской России. Через несколько секунд снова рвется гнилая веревка, и, снова срываясь, вторично падает на помост несчастный Михайлов.

Снова гудит обывательская толпа.—Что они смеются, что ли, черти лиловые! Неужто ж им человека не жалко?

Ничем иным, кроме аханья и вздохов, так и не проявит себя многотысячный обыватель всероссийский. Палач может спокойно и неторопливо, без малейшей помехи, взяться в третий раз за прежнее издевательство над несчастным Михайловым.

— Ну-ка, господи благослови, в третий раз.

Снова совершен обряд. Снова завертелось на веревке тело казненного. И снова стала перетираться веревка. Всем окружающим видно, как наверху, на кольце под перекладиной, через которое пропущена веревка, два стершиеся конца ее начали быстро раскручиваться.



Правосудие.
(Рисунки с натуры А. Насветевича).

— Гляди, леший. Веревка перетирается. Опять ведь, чорт, сорвется.

Опытный Фролов принимает меры. Подтянув к себе соседнюю, для другого заготовленную, петлю, палач влезает на скамейку и накидывает еще и вторую петлю на висящего Михайлова. Так и повис на двух веревках этот четыре раза повешенный человек.

Для верности—тела казненных остаются в петле около 20-ти минут; лишь после этого военный врач „удостоверил благополучное достижение цели". Веревки срезаны, трупы в приготовленных гробах свалены на ломовые телеги и увезены под усиленным конвоем.

Спектакль окончен, зрители могут расходиться.

Правосудие завершено. Заплечных дел мастер, палач Фролов со своими помощниками уже в экипажах тюремного ведомства уехал на отдых после многотрудного дня, но и теперь конные жандармы и казаки все еще особой цепью продолжают окружать эшафот, не допуская к нему „черни" из безбилетной публики. Еще не все закончено. Дело в том, что привилегированные зрители, обладающие почетными билетами,—сановники, кавалергарды и члены дипломатического корпуса тесной толпою спешат к эшафоту. Это они стараются добыть кусок веревки от повешенного.—В карты, говорят, очень с этаким амулетом везет.

* * *

Казнью пятерых не закончилась месть правительства. Еще много лет продолжается расправа над прикосновенными к делу лицами.

Лейтенант Н. Е. Суханов казнен в Кронштадте в 82 году. Другому из прикосновенных, М. Ф. Грачев-

скому, смертная казнь торжественно заменена бессрочной каторгой, но его участь не легче: „Во время пребывания в Шлиссельбурге“,—повествует о нем рапорт по начальству: „арестант Михаил Грачевский, облив портянки керосином из горевшей у него лампы, положил таковые на спину и грудь и поджег, вследствие чего получил обширные обжоги и задохнулся в дыму“.

Другой из оказавшихся на каторге по этому же делу, П. Е. Тычинин, покончил с собой иным способом. Он „бросился с верхней галлереи дома предварительного заключения“ и разбился на смерть.

Казнен, как и Н. Е. Суханов, и лейтенант Штромберг. Он был сначала сослан в Верхоленск, Иркутской губернии, но впоследствии, „в виду оговора Дегаевым“, прислан обратно и казнен в Шлиссельбурге. Казнен и Рогачев.

Не перечесть, не исчислить остальных жертв среди прикосновенных.

Умер от чахотки в Шлиссельбурге Исаев, умер от цынги там же Колоткевич, умер от чахотки в Алексеевском равелине Баранников...

Щедро отомстило за дело первого марта царское самодержавие.

Кроме судебного дела, разобранного в особом присутствии сената и начатого в самый день убийства Александра II, дело о цареубийстве вызвало, как известно, еще два судебных процесса: „дело двадцати“ и „процесс шестнадцати“. Показания предателей: Ивана Окладского, Гольденберга, Николая Рысакова и Меркулова дают достаточно обильный материал для отправления на виселицу все новых и новых „партий“ революционеров.

Главный поставщик жертв, предатель Иван Окладский, остался жив. Этот „дедушка русской провокации“ умудрился $37^1/_2$ лет, беспрерывно, до самых дней революции 1917 года, остаться на службе в охранном отделении. Удостоенный по высочайшему повелению звания личного, а потом и потомственного, почетного гражданина, Иван Окладский не только до самых дней революции получал жалование, и еще особую „пенсию“ за свои заслуги (150 руб. в месяц), но умудрился еще и после революции спокойно, как ни в чем ни бывало, оставаться жить в Петербурге уже и после того, как город стал называться Ленинградом.

Кто он, этот жуткий человек? В первый раз Иван Окладский заявил себя 44 года тому назад в 1880-м году в Петербургском военно-окружном суде в качестве подсудимого в „процессе шестнадцати“, в деле о террористах, обвиняемых в покушении на цареубийство. Иван Окладский выступал в этом процессе, в качестве одного из главных обвиняемых. В те дни Окладского в числе других выдал Гольденберг, раскрывший роль сигнальщика, какую играл Окладский при взрыве динамитом полотна железной дороги под Александровском во время проезда царя.

В те дни Иван Окладский и не пытался опровергать предъявленные ему обвинения.—Да, он—революционер, террорист, и он гордится этим.

— Какого вероисповедания? Социально-революционного! — отвечает подсудимый на вопрос председателя на суде: — Я не прошу и не нуждаюсь в смягчении своей участи, — гордо заявляет Окладский в своем „последнем слове“: — Напротив! Если суд смягчит свой приговор относительно меня, я приму это за оскорбление!

Но сразу же после суда положение изменилось. Иван Окладский подал прошение о помиловании. Иван Оклад-



День казни.
(С картины Верещагина).

ский стал давать „откровенные показания“. И вот уже смертная казнь по высочайшему повелению заменена каторгой. Дальше—больше. Показания Окладского оказываются весьма ценными. Каторга сразу же заменена ссылкой на поселение в Восточную Сибирь, а Сибирь в свою очередь заменена высылкой на Кавказ... Наконец, во внимание „значительных заслуг“ Ивана Окладского по раскрытию государственных преступлений, ему всемилостивейше даровано полное помилование. Уже новая фамилия Петровского, и почетное гражданство, и почетная пенсия украсили жизнь предателя. Окладский-Петровский, после работы в Кавказском жандармском управлении, уже выписан на гастроли в Петербург. Гастролеру поручены важные роли. Его „подсаживают“ к преступникам. Это не простой филер, каких помещают в камеры „для разговора“ с подследственными. Нет! Окладский работает в казематах Трубецкого бастиона. Его помещают в одиночке рядом с казематами важнейших государственных преступников. Отсюда, с особого благословения В. К. Плеве, он сообщается со своими соседями. Тюремщикам приказано не мешать Окладскому. Он перестукивается с соседями и при помощи стражи вступает с ними в переписку. Перед ним, старым революционером, осужденным на вечное заключение по делу о цареубийстве, сердца заключенных открыты. От него тайны нет. И все, что узнает Иван Окладский, он полностью немедленно же передает в департамент полиции. П. Н. Дурново не нарадуется на своего редкого и полезного сотрудника.

37½ лет беспрерывно оставался на своей службе Иван Федорович Петровский-Окладский. Последний раз свое жалование из департамента, те серебренники, какие причитались ему в качестве „цены крови“ преданных

им людей, он успел получить еще во второй половине февраля 1917-го года, перед самыми днями революции. Когда революция помешала этому труженику регулярно получать свое жалование и пенсию, Иван Федорович Петровский-Окладский счел было уместным на годик уехать из Петербурга. Популярности он не ищет. Отчего и не отдохнуть? Но в Ленинград он вернулся. И только теперь, в наши дни, этому глубокому старцу пришлось держать ответ перед революционным судом.

Немного людей уцелело в наши дни на земле из тех, кто был взрослым и сознательным человеком во дни Желябова и Перовской. Вера Фигнер, Николай Морозов... Как мало их, этих „последних могикан", живых свидетелей и активных участников героической эпохи. И как жутко, что предатель Окладский — среди тех, кто был не только современником, но и соратником Желябова и Перовской. Именно ему, Окладскому, судьба даровала многолетие и поручила до наших дней донести живое свидетельство о наивных и трогательных, о величавых и героических событиях тех далеких и волнующих дней.

ГЛАВА II.

„В тюрьмах и шахтах сырых".

Мертвые зарыты в землю. Живые рассажены по тюрьмам, сосланы в гиблые места Сибири, заточены в казематы, отправлены на каторгу.

Целый ряд поколений русские революционеры непрестанно заполняли каторгу и ссылку.

Если ж погибнуть придется
В тюрьмах и шахтах сырых —
Дело всегда отзовется
На поколеньях живых.

Каковы были эти „тюрьмы и шахты", в каких гибло неисчислимое множество русских революционеров? Что представляли из себя каторга и ссылка для политических?

Классической книгой по изучению Сибири и ссылки считалась в царские дни книга англичанина Джорджа Кеннана, сумевшего в царствование Александра III, еще в восьмидесятых годах обеспечить настолько благосклонное отношение к себе правительства тех дней, что он почти без помехи мог, в качестве корреспондента американского журнала, объехать целый ряд гиблых мест России.

Либеральная книга Кеннана написана была очень скромно и осторожно. Но и в этом виде она смогла по-

явиться в России только после 1905-го года, т.-е. почти через 25 лет после своего появления на английском языке.



Н. Г. Чернышевский.

За 35 лет, прошедших от появления этой книги до гибели самодержавия, книга Кеннана так и не успела устареть. Еще и в начале 1917 года полностью сохраняли свою свежесть все наблюдения, сделанные автором еще в восьмидесятых годах прошлого века. Не легче, а тя-

гостнее становились из года в год кошмарные условия жизни политических в царские времена.

„Просвещенный мореплаватель“ Джордж Кеннан выехал в свою поездку по Сибири с твердой уверенностью в том, что русские нигилисты представляют собой чудовищных злодеев, и что царское правительство состоит из благородных деятелей, мучеников, страдающих от этих ужасных революционеров. Кеннан в те дни был настолько „благонамерен“, что все сановники, снабжавшие его рекомендательными письмами для поездки, делали это со всей готовностью. Совершенно ясно, что впечатления этого знатного иностранца, появившись в западноевропейской печати, только повысят престиж русского правительства, усилят его кредит.

Но уже первые впечатления, полученные в поездке, резко изменили точку зрения либерального англичанина. Едва добравшись до пограничного камня, кирпичного столба на границе Пермской и Тобольской губерний, Джордж Кеннан успевает насмотреться достаточно, чтобы по новому оценить положение. „Нет в мире другого пограничного столба,—записывает он,—мимо которого прошло бы столько человеческого горя, столько разбитых жизней! За последние 10 лет мимо него—подсчитывает Кеннан—проследовало 170 тысяч ссыльных, а с начала столетия более полумиллиона людей, звеня кандалами, медленно переходили границу Сибири“.

Эти подсчеты могли казаться крупными только в те далекие времена. Настоящие цифры проявились только впоследствии, и дошли до предела уже в настоящем столетии, после революции 1905-го года.

По началу Кеннан видит только внешность явлений. Его удивляют „странные порядки“. Подумать только:

„В Тюмени тюрьма рассчитана на 500 арестантов, а между тем, в день нашего осмотра, в ней помещалось 1.741 заключенных“. Арестанты—удивляется англичанин,—не получают ни подушек, ни одеял. В тюрьмах полнейшее отсутствие вентиляции, воздух так тяжел, что не перевести дух. Люди лежат не только на нарах, но и между нар, под нарами, чуть ли не друг на друге. Камера, длиной в 12 метров, шириной в 8, по выкладке Кеннана, никак „не может вместить“ свыше 40 человек. А между тем в ней помещается, как оказывается, 160 арестантов. Что за странные, в самом деле, порядки!

Благодушный англичанин никак не может уразуметь трагического значения старой поговорки: „что русскому здорово,—немцу смерть“. Еще хуже, чем тюрьмы,—говорит он,—пересыльные помещения, бараки с зачумленным воздухом, куда загнаны семейства ссыльных, мужчины, женщины и дети, все вместе. Неужели это—семьи, добровольно следующие за сосланными? Много, очень много поводов для изумления встречает любознательный европеец на своем пути. Недаром путевые впечатления, напечатанные им по возвращении в Англию, были встречены с очень большим вниманием и оказались сенсацией, очень полезной для тиража командировавших его газет.

По пути из одной сибирской тюрьмы в другую Кеннан заезжает в гости к сибирским магнатам, и с изумлением описывает их житье-бытье. Дворец местного фабриканта Колмакова, находящийся в его имении, в 100 верстах от Тюмени—изумителен. Обстановка—роскошная, полная вкуса. Какие гобелены, какие произведения искусства, какая мебель, ковры, статуи! Огромная оранжерея полна лимонных и апельсинных деревьев и ананасов. В зимнем саду—целый лесок бананов и пальм.

Кто бы подумал, что в Сибири можно отдыхать под пальмами, среди бананов!

Англичанин едет дальше, по пути в Омск. Одно гиблое место сменяется другим, еще более потрясающим. По дороге он встречает крестный ход. Шесть крестьян, сгибаясь под тяжестью, несут огромный образ в золотой раме. Впереди—священники, дьяконы, хоругвеносцы. За ними толпа, все увеличивающаяся, несмотря на проливной дождь, все новыми и новыми крестьянами из окружных деревень.

— Я впервые увидел эту странную, напоминающую средневековье, картину. Мне казалось, что я перенесен в XI век и вижу фанатизированную Петром Амьенским толпу.

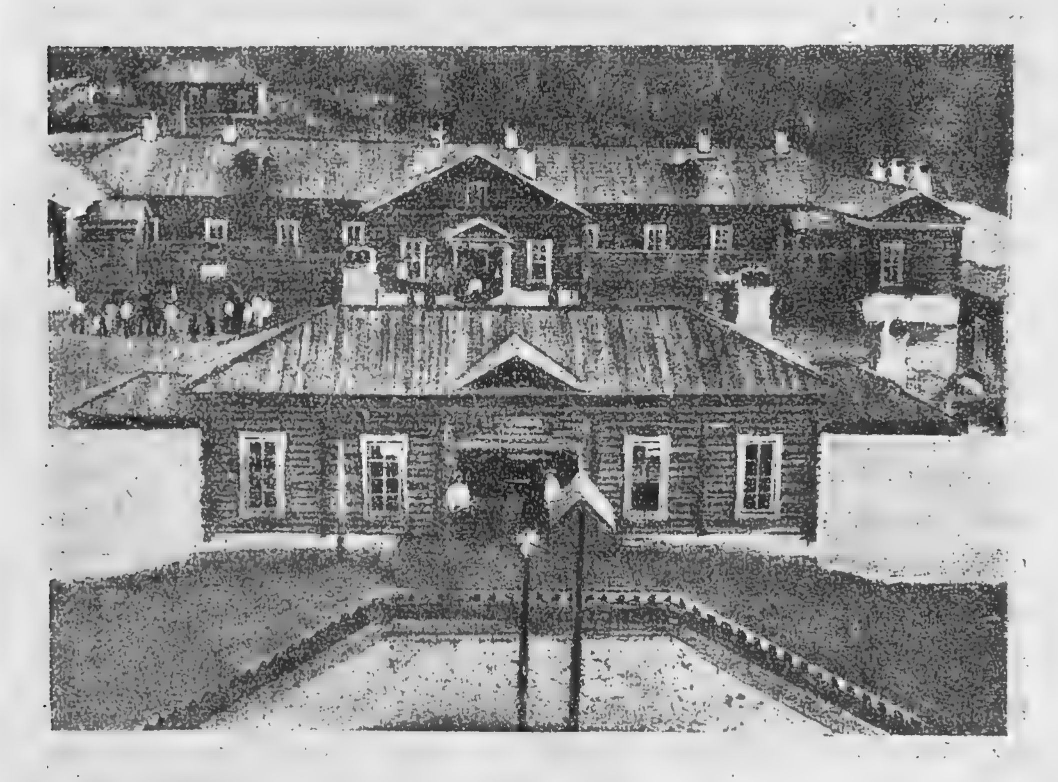
Кеннан разыскивает в Омске ту тюрьму, „в которой Достоевский провел полтора года и дважды был подвергнут телесному наказанию“, ту тюрьму, „которую этот знаменитый русский писатель так живо описывает в своих Записках из Мертвого дома“.

Тюрьмы все оказываются одинаково жуткими „мертвыми домами“. Встречают Кеннана повсюду удивленно и испуганно.—Это еще что за птица? Больше всего пугает местных людей, что этот иноземный корреспондент вдруг вздумает похвалить кого-нибудь в своих будущих рассказах в печати. Если напишет, что суров, строг, жесток, это бы ничего, даже полезно для карьеры бывает. А что если вдруг похвалит? Культурный, скажет, добродушный... Так от начальства нагорит, что и жизни не обрадуешься.

— Только пожалуйста, г-н Кеннан, не пишите обо мне ничего хорошего,—просил меня один из интеллигентов: — убедительно прошу вас оказать мне это одолжение.

Никому из начальства, впрочем, опасность прочесть в будущем что-нибудь хорошее о себе не грозит. Все вокруг плохо до трагизма и неправдоподобия.

Политические ссыльные „из привилегированных" получают шесть рублей, все прочие 2 рубля 70 копеек в ме-



Акатуйская каторжная тюрьма.

сяц. Кеннан удивлен. Правда, „я считал нигилистов несимпатичными, полуобразованными фанатиками с безрассуднейшими понятиями об обществе и государстве, но все же"... Жить на 9 копеек в день—это трудновато, тем более, что давать уроки и вообще подыскивать себе хотя бы подсобные заработки ссыльным, как людям „общественно-вредным", воспрещено.

Кто же они такие, эти сосланные в Сибирь фанатики-нигилисты? Все шире раскрывает глаза удивленный англичанин:

— Вот доктор Белый, который жил в Ивангороде Черниговской губернии. К нему обратились однажды некие две курсистки-медички с просьбой дать им книг по их специальности. Эти курсистки оказались впоследствии высланными за неблагонадежность и не имеющими права жить в Ивангороде. За то, что доктор Белый не донес на незаконно проживающих, его, вместе с ними, выслали административным порядком в Сибирь в деревню Верхоянскую, Якутской области, у Северного полярного круга.

Во время его высылки—рассказывает Кеннан, — его молодая красавица-жена была накануне родов, и отправиться вместе с ним не могла. Дождавшись разрешения от бремени, она передала ребенка родственникам, а сама выпросила разрешение со следующей партией ссыльных отправиться за 10 тысяч километров, чтобы отыскать мужа. 16 месяцев движется этап. Перенесены уже все неизбежные в пути муки, молодая женщина добралась до цели. Она в Иркутске, откуда уже до деревни Верхоленск, по местным понятиям рукой подать,—но в это время здесь выяснилось, что муж ее вовсе не в Верхоленске, а в Верхоянске, до которого надо проделать еще 4 тысячи километров, которые надо осиливать на собаках и оленях через степи и леса. Молодая женщина не вынесла этого известия. Она сошла с ума, и через несколько месяцев умерла в Иркутской тюремной больнице, так и не повидав своего мужа.—Какие странные обычаи в этой удивительной стране!

Но количество странностей все растет, Кеннан удивляется все больше и больше. Ссылают, оказывается,

людей в России без всякого толку, не только за знакомство, но даже и за родство с опасными людьми. Ссылают „только потому, что губернатор подписал об этом бумажку на имя министра“. Бумажки же подписываются почем зря, и, например, правитель канцелярии Тобольского губернского управления даже особое пари выиграл, подсунув своему губернатору „Отче наш“, написанное в форме акта, и добившись его подписи.

Удивление англичанина возрастает, но с течением времени Кеннан начинает кое-что понимать. „Удивляться— говорит он, напр.,—надо не тому, что административная ссылка создает отдельных террористов, а тому, что она не делает террористами весь русский народ поголовно. Разве можно терпеть то, что здесь творится!“.

Заниматься своей профессией политическим ссыльным запрещено строго-на-строго. И какие же трагические „курьезы быта“ создаются на почве этого запрета. В городе Тюкалинске сын городского головы Балакин нечаянно, во время чистки револьвера, ранил свою мать.

Для удаления пули необходима срочная операция. Призвали ссыльного, хирурга, доктора Долгополого.

— Я не имею права лечить.

— Но ведь дело идет о спасении человеческой жизни!— настаивает городской голова.

— Но я не имею права.

— Вы были сосланы в Сибирь за ваш человеколюбивый образ мыслей... Неужели же вы не исполните мольбы умирающей?—убеждает доктора муж раненой женщины.

Против такого довода ссыльный не чувствует себя в силах возражать.

Доктор отправился к больной. Исследование раны показало возможность отложить операцию на время. Городской голова воспользовался этим, чтоб обратиться по телеграфу к Тобольскому губернатору, Лысогорскому, с просьбой разрешить ссыльному врачу произвести необходимую операцию. Но ответная телеграмма губернатора заявляет, что разрешение в таких случаях надлежит просить в медицинском департаменте министерства внутренних дел. Он, губернатор, не правомочен выдавать такие разрешения.

Дольше откладывать операцию невозможно. Доктор Долгополый поступил самовольно. Уступая мольбе окружающих, он извлек пулю и спас жизнь раненой. На завтра же он был арестован и заключен в тюрьму. Начался длительный процесс. Документы об этом сохранились в архиве тобольского окружного суда под эффектным заглавием: „Неразрешенное удаление пули из ноги жены городского головы ссыльным, доктором Долгополовым".

На этом не закончилась поразившая Кеннана история.

Заключенный в тюрьму, доктор Долгополый, как оказывается, заболел сам тифом. Жители города, узнав об его судьбе, стали посылать доктору в тюрьму пищу и даже цветы. Начальство усмотрело в этом очевидное доказательство опасного влияния ссыльного, и предписало немедленно выслать доктора этапным порядком в Сургут. Приказ выполнен свято. Больной в одной сорочке вынесен на тюфяке из тюрьмы, свален в розвальни и сослан.

Кеннан поместил в „Таймсе" подробную корреспонденцию о судьбе доктора Долгополого, но внимательно прочитавшие ее просвещенные мореплаватели так и не

сумели понять, что это за страна, где даже простое излечение доктором больной считается опасным и сурово карается.

Корреспонденций такого рода вышло из-под пера Кеннана не мало.



Д. И. Писарев.

В Томске Кеннан познакомился с писателем Феликсом Волховским. После долгого заключения в Петропавловке Волховской был навсегда сослан в Сибирь по обвинению в стремлении к ниспровержению существующего строя. Кеннан всматривается, как живет этот человек с семьей, вдумывается в ту драму, какая разыгралась, когда по-

следовавшая за мужем жена Волховского, сошедшая с ума от постигших семью испытаний, в минуту просветления покончила с собой револьверным выстрелом, чтоб не быть в тягость своему мужу.

„Правительство может гноить таких людей, как Волховской, в глубоких казематах,—пишет все явственнее прозревающий Кеннан,—оно может ссылать их в далекую Сибирь. Но наступит время, когда имена этих страдальцев будут золотыми буквами вписаны в историю, когда рассказы об их жизни и страданиях послужат всем любящим родину и свободу русским источником геройского вдохновения“.

Кеннан что-то понял в беспросветном мраке царского режима.

Все чаще и чаще рассказывает Кеннан о „неимоверных человеческих страданиях“, какие он наблюдает среди ссыльных, которых заставляют исходить тысячи верст в кандалах по морозу, делая по 35 километров в день. Все ярче рисует Кеннан ужасное состояние сибирских тюрем, в какое они приведены из-за „мошенничеств“ бесчестного бюрократического режима. Особенно ужасны этапы. „Один из представителей администрации“, не скрывая, говорит англичанину:—если бы собрать все деньги, которые назначались для сооружения и ремонта этих редких строений, то, не преувеличивая, можно было бы все этапы между Томском и Иркутском построить из чистого серебра“. С еще большим изумлением всматривается просвещенный мореплаватель в кошмар жизни тех ссыльных, кого отправляют в улусы и размещают на жительство в уединенных якутских юртах. Как поверить в самую возможность существования здесь этих несчастных, заживо похороненных людей?

Якуты живут в своих землянках вместе со скотом. Выделения животных и детей, грязь, гнилая солома, насекомые. В этой обстановке живет цвет русской интеллигенции. Среди них, напр., русский писатель Короленко!— удивляется англичанин.

У этих людей-мучеников нет ни книг, ни газет. Все, что происходит на свете, им неизвестно. Сюда же ссылаются и женщины.

Больше всего поражает Кеннана тот спокойный тон, каким говорят о себе, о своей судьбе сосланные революционеры. Они хладнокровно рассказывают о бесконечных страданиях и насилиях, перенесенных ими, о массовых умопомешательствах и самоубийствах в их среде. „Русские революционеры пережили столько насилия, столько горя, что научились без волнения рассказывать об ужасах, одно воспоминание о которых покрывает краской гнева мое лицо и заставляет мое сердце усиленно биться“— удивляется англичанин.

И жутко читать, как это удивление европейца вызывает в свою очередь удивление „туземцев“.

— Дважды в своей жизни,—говорит Кеннану один из политических:—я вполне понял, что такое свободный гражданин. Впервые—при возвращении моем из-за границы в Россию, когда уже на границе я увидел разницу в обращении русских жандармов со мною и несколькими английскими путешественниками. Вторично—теперь, когда я увидел, какое впечатление производят на вас сообщения моих друзей. Выражение вашего лица ясно показывало, что все сообщаемое казалось вам ужасным, невероятным. На меня лично эти рассказы не произвели впечатления большего, чем всякое обычное происшествие. И вот, когда я увидел выражение вашего лица и попы-

тался поставить себя на ваше место, я почувствовал в глубине своей души, какая пропасть между гражданином свободной страны и русским подданным“.

Из одного гиблого места в другое переезжает Кеннан. Даже роскошные „оазисы“, имения капиталистов, не утешают его. Оказавшись, напр., в гостях у некоего горнопромышленника Кузнецова, любуясь пышными и богатыми, „убранными с редким вкусом аппартаментами, украшенными картинами лучших мастеров, редким фарфором и слоновой костью“,—Кеннан не в силах все же расстаться с мыслью, „что во всем цивилизованном мире нет ничего подобного тому бедствию и ужасу, каким является ссылка в Сибирь“.

Продолжая свое путешествие, англичанин добросовестно обходит гнилые больничные бараки при тюрьмах, где в ужасающих условиях свалены больные, без различия пола, возраста и болезни, где нет ни ухода, ни кроватей, ни белья, ни даже посуды для варки пищи и еды. Даже самоуверенный Кеннан признается, что здесь, в этой обстановке,—„он не мог не казаться туристом, который пришел смотреть экзотических животных в зоологическом саду“. Стыдно за себя, за весь мир бедному туристу.

— Отчего так грязно белье на арестантах?—спрашивает Кеннан во время посещения тюрьмы у иркутского полицеймейстера.

— Как же оно может быть чистым,—резонно отвечает собеседник,—когда арестант каждые шесть месяцев получает только одну рубашку и только один халат на целый год. Ведь в этом костюме он ходит день и ночь. И снимает ее только тогда, когда моется в бане. Конечно, должны они быть грязными.

— Разве рубашки у арестантов не моются? Или они должны ходить голыми во время стирки?—спрашивает Кеннан.

— Когда в бане моются, тогда и стирают свои рубашки, а потом снова их надевают. Тюрьма—это ведь не пансион для благородных девиц.

Но Кеннана эти слова не убеждают. В Забайкальи, напр., осматривая тюрьму, он снова приходит в ужас: —Представьте себе положение людей, когда в помещении, рассчитанном на 170 человек, содержится их 700. Нечистоты не отводятся. „Уже при приближении к тюрьме вы чувствуете отвратительное, невыносимое зловоние. Забайкальский губернатор отправился было однажды в эту тюрьму, но как только приказал открыть наружные двери коридора, вынужден был сейчас же уйти, так как не мог вынести удушливого зловония“.

— По стенам привешены картонные дощечки с цитатами из библии. Так, на одной я прочел: „Прийдите ко мне, все трудящиеся и обремененные, и я успокою вас“. Какая злая, жестокая насмешка над человеком!

Еще ужаснее оказывается положение сосланных на Карийские рудники, составляющие частную собственность царя. Здесь тюрьмы, по словам Кеннана, и вовсе неописуемы. „Человек, не привыкший к этому воздуху, насыщенному зародышами всевозможных болезней, не в состоянии провести здесь ни одной минуты“.

Столь же неправдоподобны и те условия, в каких живут арестанты из вольных команд. „Более жалких жилищ, чем эти, наскоро сколоченные из досок, лачуги, нельзя себе представить. Для меня—говорит Кеннан—было совершенно непонятно, как могут люди проводить суровую сибирскую зиму в таких помещениях?!“

Но что самое удивительное,—это что „мужество, надежда и вера в лучшее будущее России твердо хранятся в сердцах политических",—удивляется англичанин: —Пусть мы умрем в ссылке,—говорила мне одна из политических ссыльных, госпожа Брышевская, молодая, прекрасно образованная, чудесная музыкантша, красивая женщина, знающая 4 языка.—Пусть мы умрем в ссылке, пусть та же участь постигнет наших детей и внуков, но не напрасны будут эти жертвы". Эта женщина – заключает Кеннан—первая из людей дала мне ясно понять сущность самопожертвования, какое геройски переносят эти люди во имя блага своего народа.

Рабочий день арестантов в рудниках на Каре составляет 14 часов. Эти кабинетские рудники ежегодно доставляют его величеству около 90 пудов чистого золота.

Начальство тюрем встречает Кеннана, в качестве знатного иностранца, весьма предупредительно. Ему показывают кандалы, плети и розги утвержденного образца, тачки, к которым приковывают арестантов в наказание, пред ним хвастают ловкостью, проявляемой при обысках. —Мне случалось,—рассказывает с веселым смехом жандармский полковник Николин:—обнаруживать письма не только во рту, но даже в ушах арестантов, тонкие свернутые бумажки. Они хитрые, но меня не проведут. Я даже раз, в пустом зубе, и то нашел спрятанную там дозу яду.

Разыскал Кеннан и тех политических, к каким у него были письма, некую Армфельд, и сосланную на Кару за участие в заговоре на генерала Мезенцева, Коленкину.

„И теперь, как уже не раз со мной случалось и раньше, я был удивлен,—говорит англичанин,—увидев эту извест-

ную революционерку, почти девочку-подростка. Замечательно, что все эти женщины-революционерки, успевшие



П. А. Кропоткин.

проявить мужество и решительность, редко встречающиеся даже у мужчин, были настолько молодые и хрупкие созданья 18—20 лет, что каждый наверное принял бы их за воспитанниц института".

В Каре Джордж Кеннан встретил знаменитость тех дней, доктора Эдуарда Веймара. Происходящий из знатной и богатой семьи, этот доктор имел огромные связи, вплоть до царской семьи включительно. Эти связи гарантировали его безопасность, и в течение ряда лет доктор Веймар без помехи оказывал помощь революционерам, проявлявшуюся самыми различными путями, до участия в увозе бежавшего из тюрьмы Кропоткина. Императрица Мария Федоровна, давно знавшая доктора Веймара, выхлопотала было для него освобождение, под условием, чтоб он дал торжественное обещание не предпринимать ничего против правительства. Но Веймар отказался дать это обещание, остался в Сибири, и здесь и умер от чахотки, нажитой в тюрьме.

Кеннан подробно описывает процедуру приковывания к тачке, какое применяется к людям, присужденным на вечную каторгу. К тачке приковывают людей, и без того скованных по рукам и ногам. Цепь очень коротка, и тачка следует за каждым движением узника, который остается прикованным к ней долгие годы, даже во время сна.

Описывает Кеннан и целый ряд самоубийств среди политических. Отравился политический арестант Родин, повесился в бане Успенский, застрелился Семеновский...

* * *

Детским лепетом, ребяческою наивностью кажутся все впечатления Джорджа Кеннана, все факты, приводимые им, по сравнению с теми подлинными, настоящими впечатлениями, какие оставили нам действительные знатоки тюремного дела в России, заключенные, целые десятилетия проведшие и во мраке царских казематов, и в глухих углах Сибири.

До настоящих гиблых мест ссылки Кеннан не добрался.

Многого не знал Джордж Кеннан. Не знал он, например, что мудрости Александра III обязана Россия не только введением для политических тюремного заключения в административном порядке, без всякого суда и следствия, так что человек сидел в тюрьме десяток лет и так и не знал, за что, собственно, он посажен, но еще и особой системой „продления срока“ ссылки и тюремного заключения, путем пересмотра старых дел, давным давно решенных и сданных в архив.

Эта система пересмотра считалась одинаково полезной, как на предмет устрашения, так и на предмет подготовки к делу молодых жандармских офицеров, новых поколений слуг государевых.

Неопытные новички к текущим, новым делам не допускались. Они должны были раньше пройти особую школу. Проделать стаж и показать свою резвость им предлагалось на пересмотре старых, уже однажды решенных дел. Во имя забот о будущей карьере молоденький жандармский офицер лез из кожи, стараясь в старых, сданных в архив делах отыскать новые обстоятельства, недостаточно оцененные при прежнем производстве.

„Ищите и обрящете“. Поиски оказывались весьма плодотворны. К долгим годам ссылки и заключения подбавляется, „ввиду новых обстоятельств“, еще три, и пять, и десять лет, при чем во имя эффекта эта новая прибавка объявляется политическому не раньше того, как прежний срок кончается, как раз тогда, когда и он сам, измученный долгими годами кары, и разлученная с ним семья с минуты на минуту ждет освобождения. Эти приказы о „продлении“ получаются именно тогда, когда, исчерпав

6*

все силы, политический ссыльный взволнованно и радостно готовится в путь на волю, укладывает свои вещи.

Инквизиционные сюрпризы такого рода с извещением о продлении повторялись иногда и во второй и даже в третий раз.

Но и этого Александру III мало. Он совершенствует ссылку еще и далее. Вместо прежних маленьких городов Сибири,—отныне для ссылки избираются такие, например, пункты, как Верхоянск (совершенно дикая деревня под 67 градусом северной широты, с населением в 290 человек), Вилюйск, или Средне-Колымск, где долгие месяцы тянется вечная ночь, где температура в течение зимы на 13 градусов ниже точки замерзания ртути...

Именно сюда, в эти совершенно необитаемые для европейца места с самой низкой температурой, наблюдаемой на каком бы то ни было месте земного шара, систематически посылаются отныне целыми партиями политические ссыльные.

Многие из них сходят с ума уже в пути. Но, по общему правилу, сумасшествие не меняет участи ссыльных. Были случаи, как с некиим автором книг по педагогике, Маврогацом, бывшим воспитателем Ришельевской гимназии в Одессе,—когда самый приговор о ссылке был прочитан человеку, уже находившемуся в сумасшедшем доме. Так же точно сослан в Куган по делу о социалистической пропаганде признанный душевно-больным Добросельский. Жандармские власти в этом случае, включая Добросельского в очередную партию, сочли даже долгом обратиться к остальным ссыльным с просьбой „присматривать“ за Добросельским. — Он, видите ли, душевно-больной.

Если даже людей, ранее сошедших с ума, считали возможным отправлять в ссылку, то тем меньше заботились о тех, которые успевали сойти с ума по пути или придя на место. Сумасшествие, впрочем, вовсе не являлось для ссыльных пределом несчастия. Многие и многие из оставшихся здоровыми искренне завидовали больным, лишившимся рассудка и не имеющим представления о своей судьбе. Здоровым было много хуже!

Самый путь, дорога на место ссылки — представлял собой ужасы, почти не переносимые. Чтобы добраться до Якутска, куда препровождали „по этапу", при чем почти весь путь совершался пешком, нужно было потратить в среднем не менее года. Но только в дальнейшем, уже после Якутска, начинались настоящие трудности, на путях к Верхоянску, Колымску и другим местам ссылки.

При Николае II нормы ссылки остались те же:

— Только в Якутске указали мне место ссылки, — рассказывает, напр., Вл. Зензинов в своей книге „Из жизни революционера". — Это было Русское Устье. Оно находится в трех тысячах верст к северу от Якутска, на берегу Северного Ледовитого океана. Местечко это северней всех других населенных местностей не только Якутской области, но и всего мира.

— Двигались мы в ссылку пешком, при 40-градусном морозе, и были обязаны делать по 30 верст в день. Многие из нас были с тяжелыми цепями на ногах. Итти по такому морозу было очень трудно, но отставать было нельзя, потому что солдаты подталкивали нас сзади и не позволяли останавливаться.

Радости жизни в этом краю выясняются уже по пути из Якутска. Мороз доходит до 71 градуса по Цельзию. „Достаточно высунуть на одну минуту нос из капюшона,

или вынуть из перчатки руку, и вы безнадежно их отморозите. Замерзает все, хлеб, мясо, дерево, которое становится похожим на камень. Ртуть остается здесь замерзшей в течение 109 дней в году.

Недаром Якутская область, по своим размерам равняющаяся всей Европе (3½ миллиона кв. верст), имеет население всего 275 тысяч человек.

— Русское Устье—это селение, оторванное от всего мира. Почты здесь нет уже потому, что во всей этой окраине нет ни одного грамотного человека. Жители села дальше 500 верст от своего села не отлучались. Никто из них не был даже в Якутске, а о России они слышали только, как о какой-то загадочной стране. От Петербурга Русское Устье отстоит на 11 тысяч, а от железной дороги на шесть тысяч верст. Единственное средство передвижения—собаки. Леса нет совершенно, и ни один житель Русского Устья никогда в своей жизни не видел растущего дерева. Хлеба и молока нет и в помине. Коровьего мяса они никогда не пробовали. Живет население охотой, пользуясь луком и копьями. Не только ружье, но и простая керосиновая лампа, какая оказалась с собой у политического ссыльного, кажется местным людям чудом небывалым, и любоваться на нее приезжают со всей округи за 50 верст.

Уже в 160-ти верстах от Якутска, в Алдане, исчезают последние следы оседлой жизни. Дальше жили одни только кочующие дикари, от года к году вымирающие от натуральной оспы. Но самодержавие достаточно сильно, чтобы проявить себя и здесь. В этих пустынях полярных тундр размещены особого сорта юрты, „почтовые станции", стоящие на полтораста, двести верст одна от другой. Эти станции и служат этапными пунктами.

Любой из тюремщиков в этих местах является не только царем, но и богом. Малейшие попытки протеста, заявление своего человеческого достоинства вызывают бойню.

Во время знаменитой „якутской бойни", во дни Александра III, когда из тридцати пяти ссыльных за попытку протеста шестеро были убиты конвойными на месте, а 22 человека (Михаил Гоц, Фундаминский и др.) ранены,— виновниками были объявлены не тюремщики, представители власти, а сами же ссыльные. Трое „зачинщиков", Беренштейн, Зотов и Гаусман были особой военно-судной комиссией немедленно приговорены к повешению, а целый ряд остальных: Гоц, Гуревич, Минор и др.—к пожизненной каторге.

Приговор военно-судной комиссии даже властям в Якутске показался чрезмерно-жестоким, и в силу этого был направлен Александру III „на высочайшее благоусмотрение". Но царь не только не пожелал воспользоваться своим правом помилования, или облегчить участь пострадавших от Якутской бойни, но — об этом трудно говорить спокойным тоном!—„за благо положил" усилить наказание. Утвердив смертные приговоры зачинщикам, Александр III не позабыл остальных: восьми женщинам и двум несовершеннолетним царь набавил еще и „от себя" по два и по три года каторжных работ каждому дополнительно.

Когда смертные приговоры были утверждены, и осужденные по указу его императорского величества отправлены на виселицу, один из них, особенно тяжело раненый во время бойни, Беренштейн, своими силами передвигаться не мог. Привычный обряд повешения пришлось на этот раз усовершенствовать: к виселице раненого при-

шлось принести в кровати. Остальное шло нормально. Заботами палача на шею лежащего в кровати человека была благополучно надета намыленная петля и, когда после этого из-под него кровать выдернули, царское правосудие совершилось именно так, как полагается.

С остальными возни было много меньше.

Я надену черную рубаху
И, вослед за мутным фонарем,
По камням двора пойду на плаху
С молчаливо-ласковым лицом.

В деле об Якутской бойне приговорены к казни отнюдь не герои, выделяющиеся из общего уровня ссыльных. Перед нами именно рядовые от революции.

Но каким подлинным героизмом исполнены предсмертные письма, какие оставили после себя все эти рядовые революционеры:

„Простимся заочно, дорогие товарищи“,—пишет в предсмертном письме один из них, Беренштейн:—„Никогда ни одна капля силы не пропадет в мире, не пропадет, стало быть, задаром и жизнь человеческая. Никогда не надо горевать о ней. Оставьте мертвых мертвецам. У вас впереди живая связь с родиной. Кто знает, быть может вам удастся увидеть и лучшие дни,—великий праздник свободы. Тогда, друзья, помяните и нас добрым словом. Да не покидает вас никогда эта великая надежда так же, как она не покинет меня на эшафоте“...

Таково предсмертное письмо Льва Беренштейна. Письмо второго из повешенных, Н. Зотова, написано им в те минуты, когда его невеста, Женя, была у него на последнем свидании.

„Женя видела мои последние минуты и опишет вам их“,—пишет товарищам Зотов:—„мне самому теперь не-

возможно это сделать. Я чувствую себя душевно бодро, светло даже, но и усталость зато чувствую страшную, и физическую, и нервную. Мне страшно только за остающихся в живых дорогих людей. Что мои страдания! Всего несколько часов, а им-то сколько сил нужно вынести все это... Как посмотрю я на Женю... Вошел конвой, внес казенную одежду, и я уже переоделся",—продолжает Зотов это предсмертное письмо:—„сижу в парусиновой рубахе, и мне страшно холодно. Не думайте, что рука дрожит от волнения. Я умираю очень и очень легко, с сознанием правоты, с чувством силы в груди. Прощайте, прощайте, дорогие".

Именно такие же, спокойные и бодрые, ноты находим мы в предсмертном письме и третьего из приговоренных А. Гаусмана, помеченном: „Якутская гауптвахта, 7-ое августа 1889-го года, три четверти первого ночи".

„Извините, что буду краток",—начинает он свое прощание с товарищами.—„Не до подробных писем как-то. Позвольте только проститься с вами. Всем товарищам мой горячий привет! Если когда-нибудь доживете до радостных дней, моя мысль будет с вами. Я умираю с верой в торжество истины. Прощайте, братья! Ваш А. Гаусман".

Бесконечно показательны все эти предсмертные письма рядовых, заурядных ссыльных для определения того, из какого человеческого материала формировались кадры революции российской.

* * *

Мы видели, как часто встречаются слова о счастьи в предсмертных письмах революционеров. Как понять, как объяснить этот странный вид счастья?

Среди человеческих документов такого рода одним из наиболее значительных является опубликованное в жур-

нале „Образование“ (август, 1908 года) письмо Климовой, присужденной к смертной казни по делу о взрыве дачи П. А. Столыпина на Аптекарском острове. Письмо написано после смертного приговора, в моменты ожидания смерти...



П. Н. Ткачев.

„Тот смутный страх, порой даже ужас, который я испытала перед смертью, когда она была за сто верст, теперь, когда она за пять шагов и вырисовывается очень ясно, в виде плотно натянутой вокруг шеи веревки,—совершенно исчез. Появилось любопытство к ней и подчас даже чувство удовлетворения от сознания, что вот скоро-скоро я узнаю величайшую тайну. И даже нет сожаления о жизни, а между тем я страшно люблю ее, и только теперь я познала такие ее красоты, о которых и не снилось раньше. Точно смерть — есть одна из фаз жизни, точно сознание не прерывается и идет все дальше. А между тем, я грубейшая материалистка, ни в какие будущие жизни абсолютно не верю. И думаю, что в тот момент, когда я задохнусь от недостатка кислорода, навеки исчезнет существование моего „я“.

„Почему-то это меня абсолютно не пугает. Все мои размышления о смерти никак не идут дальше ощущения

веревки на шее, ощущения сдавленного горла, красных и темных кругов в глазах. Это, конечно, неприятно, но ужасного пока ничего нет. Многие операции хуже.

„...Новые, странные, удивительно хорошие ощущения переживаю я здесь, в полутемной камере. Доминирующее ощущение—это всепоглощающее чувство какой-то особенной внутренней свободы. Это страшно трудно объяснить. Чувство это так сильно, так постоянно и так радостно, что каждый атом моего тела ликует и я испытываю огромное счастье жизни. Что это? Откуда? Не знаю. Не радость ли это раба, у которого, наконец, расковали цепи? Или то гордость человека, взглянувшего в лицо смерти, и спокойно и просто сказавшего ей: „Я не боюсь тебя“? Не знаю. Должно быть последнее.

„...И еще появилось одно ощущение: жизнерадостность, то самое, что заставляло не сходить, а слетать с лестницы, не ходить по дому, а бегать, не стоять на месте, а прыгать. Это чувство придает каждому простому движению и действию особую прелесть, особый смысл. Прежде я растеряла его, но теперь я снова чувствую в себе эту жизнерадостность, снова струится она во мне, как алая, горячая кровь моего тела, снова делает его живым, гибким и ликующим.

„Почему она появилась именно теперь? Жизнерадостность есть результат не только физической радости молодого существа. Я видела бодрых, жизнерадостных стариков, и бесконечное количество вялых и дряхлых, вечно-стонущих молодых. Главное в жизнерадостности—это ощущение полнейшей гармонии внешних условий жизни и своего внутреннего мирка. Именно теперь я уладила свой внутренний разлад и начало проявляться во мне то, что я называю жизнерадостностью. Лишь теперь

могла я убедиться, и убедиться бесповоротно, в чем моя истинная правда, и что нет в мире той силы, которая могла бы заставить меня от нее отказаться. А из этих ощущений родилось и новое. Я слышала о нем и читала, но никогда не понимала раньше. Эта беспредельная, всепроникающая любовь (может быть, точнее определить — внимательная ко всему нежность). Это не любовь инстинкта физической жизни, трепещущая перед смертью и цепляющаяся за жизнь даже тогда, когда она в тягость, а та бесконечная, мировая любовь, что и самый факт личной смерти низводит на уровень нестрашного, простого, незначительного, хотя и очень интересного явления.

„...Знаете ли вы, что значит вдруг почувствовать величайшее единство всего мира? Тончайшую и красивейшую связь между самой отдаленной звездой и вот этой микроскопической пылинкой, между величайшим гением человечества и зачатком нервной системы какого-нибудь червя, между мной и маленькой белой снежинкой, между ростом травы и психикой какого-нибудь Петра, Ивана, живущего на том конце света? Знаете ли, что значит с нежной внимательностью любоваться всей этой громадой, трепетно и страстно любить каждое движение, каждое биение пульса молодой, только что развернувшейся жизни?

„...Не мелькнет ли у вас мысль, что все это пустые фразы, фальшивые звуки, звучащие лишь на слишком натянутых струнах-нервах? У меня и самой являлась эта мысль, и я долго не решалась заговорить об этом. Но тщательная и внимательная проверка приводит все к тем же выводам, и не только не уменьшается оно, но растет с каждым днем, это ощущение внутренней свободы, ликование и огромное счастье жизни“.

* * *

Не следует думать, что жуткие эпизоды, вроде „Якутской бойни", являлись уделом только более или менее далекого прошлого.



П. Л. Лавров.

И во дни Николая II общее положение политических не стало легче. Приняты были, напротив, все меры, чтобы сделать это положение много тяжелее. Какие потрясающие, воистину невероятные факты о систематических из-

биениях и истязаниях в тюрьмах были документально доказаны хотя бы на трибуне третьей Думы, неизменно проваливавшей все запросы о тюремных кошмарах.

Вплоть до самой революции 1917 года творился этот небывалый, кажущийся неправдоподобным, кошмар! Вот книга И. Генкина „Из воспоминаний политического каторжанина“ (1908—1914 год). Просто и спокойно рассказывает автор все, перенесенное им, и от этой простоты и спокойствия еще более жутким кажется беспросветный, фантастический какой-то, ужас быта тюрем во веки веков проклятого царского самодержавия.

— Вот, в глубоком подземельи Орловского централа— рассказывает, напр., И. Генкин,—выстроился этап, человек 80 оборванных пересыльных арестантов, ожидающих приемки.

— Теперь у нас в централе жить можно, не то что прежде,—успокаивает вновь прибывшую партию тюремный надзиратель.—Бьют уже не так. Теперь ничего, жить можно.

„О том, что в Орловской каторжной тюрьме творились невероятные вещи, мы слышали уже давно“,—говорит автор:—„Чтоб немного развеселить своих спутников и подбодрить самого себя, я еще до прибытия в Орел пробовал вышутить разделяемые нами опасения.—Быть может, все эти рассказы просто арестантская беллетристика. Да и, кроме того, что такое удар по лицу? Простое сотрясение частиц и молекул. Есть из-за чего беспокоиться,—тараторил я, хотя у самого на сердце кошки скребли“.

Теперь оказывается порядки, к счастью, уже реформированы. „Теперь не то, что прежде. Теперь жить можно“.

Но вот новая партия на собственной шкуре знакомится с этими „реформированными и облегченными“ порядками.

— Раздеться догола!—командует старший надзиратель, заведующий приемкой. — Все скидавай, сволочи, живо! Политики, небось, рас-туды вашу мать. Разбаловались небось, бродяги, так и так вашу мать. У нас, небось, живо исправят. А не то сволочи, вы тут и издохнете. Хоть какая-нибудь от вас для казны польза будет.



Н. А. Добролюбов.

По ритуалу, для начала полагается всех вновоприбывших избить в кровь по первому знакомству. Чтоб помнили.

Уже в момент приемки исполняется этот обряд сплошного избиения всех без исключения.

— Смирно! Шапки долой! Ты кто, уголовный или политический? Политический? Ах ты, рас-туды твою, — свободы захотел, против царя пошел? Надзиратели, сюда. Дайте-ка ему!

— А ты кто? Уголовный? Вот как... Чужое добро похищать, собака? Надзиратели, дайте-ка и ему!

Одним из наиболее подходящих поводов к избиению считаются поиски креста на шее. Если крест есть, повод готов.—Крест носишь, а сам против царя пошел? Ну-ка, всыпьте ему, да покрепче.

Если креста нет,—еще хуже.—Ты что ж, бродяга, даже креста не имеешь? Из жидов, что ли?.. Ну-ка, проучите его, да чтоб помнил.

„Новую партию для почина проводили голую сквозь строй надзирателей вдоль всего коридора.—Приказано раздеться всем догола для обыска,—эпически спокойно повествует Генкин: — совершенно голый каждый из нас идет в другой конец коридора, и тут-то с обеих сторон начинают бить его толстыми резинами, да так, что кожа вздувается; падающих топчут ногами. Добираемся, как ошалелые, до своей камеры. Быстро начинаем одеваться. Тянем рубаху на ноги, брюки на руки. Совсем растерялись, не видим, что делаем. Дрожим и плачем. В камеры нас загнали, как собак с криками, руганью и пинками.

В тот же вечер пришел другой этап. С ними проделали то же самое. Мы слышим их вой, плач, крики.

— За что? За что? Ради бога не бейте.

Отворяется дверь, и избитые влетают к нам в камеру. На лицах у них написан ужас. Глаза горят, как у сумасшедших. Спины окровавлены.

— Товарищи, что это значит? Со всеми ли так было,— начинают они расспрашивать. Но мы лежим, притворяемся, будто спим. Только что и они улеглись, как вдруг входит много надзирателей во главе с помощниками.

— Кто из вас за террор сидит?—спрашивает помощник Батурин.—А кто за принадлежность к партии?—задает вопрос другой помощник, граф Сангайло.

Мы молчим, боимся и рот раскрыть. Тогда они стали подходить к каждому в отдельности и спрашивать.

— За что попался?

Какой бы ответ ни был дан, результаты одинаковы.

— Ага, сволочь, вот за что попался. Захарка, взять его.

Подбегает старшой, хватает арестанта за шиворот, бьет в лицо и швыряет к остальным надзирателям.

— Я хотел, — рассказывает И. Генкин, — шепнуть несколько слов Фельдману, с которым я стоял рядом. Но не успел я повернуть голову, как ко мне подскакивает надзиратель Богомолов и со всего размаху ударяет в лицо.

— Ты это чего головой мотаешь, так и так твою мать? Стой как следует!—крикнул он, ударив меня вторично. У меня зазвенело в ушах, от неожиданности голова закружилась и я совершенно растерялся. Фельдман и Арсеньев сразу побледнели и затряслись мелкой дрожью. Зато стоявшие при этом остальные надзиратели и старший Калафуто смотрели безразлично и вяло.

Избиение кончилось.—Марш по камерам!—крикнул Калафуто:—Смотри у меня в оба. А не то, сволочи, вы здесь же и издохнете.

И. Генкин в одиночке, но и здесь наука продолжается.

„Не успел я как следует осмотреться, как открылась дверь и послышалась громкая команда:

— Смир-рно!

На пороге показался отделенный. Я отошел в угол. Богомолов, не говоря ни единого слова, берет меня за шиворот, ставит по середине камеры, затем также молча, словно обращаясь с неодушевленным предметом, сапогом сбивает мои ноги вместе.

— Вот здесь и вот так, руки по швам, ты должен стоять, когда кто-нибудь к тебе заходит. То же всякий раз, когда надзиратель посмотрит в глазок. Понял? Когда к тебе захожу я, или надзиратель, ты должен здоровкаться. „Здравия желаю, господин старшой“ или „Здравия желаю, ваше благородие“. И еще помни: стены, подоконник,

пол—все должно блестеть, как зеркало. Нигде чтоб ни пылинки. В случае чего, сволочь, в задницу получишь!

Если надзиратель взглянет в волчок, надо становиться во фронт. А что, если не заметишь?

— Я имел глупость,—рассказывает Генкин,—задать Богомолову вопрос в этом смысле.

Вместо ответа, отделенный ударяет меня в лицо:

— ......твою мать! Еще вопросы задает! Когда надзиратель посмотрит в волчок, — ты должен сейчас же стать во фронт, и без никаких.

Тут Богомолова зачем-то позвали в коридор, и он меня оставил".

И. Генкин уже и до этого много лет провел в царской тюрьме. Он давно научился ни чему не удивляться.

Кончилась поверка. И. Генкин в своей одиночке и... Как немного требует человеческое самочувствие в этом аду! „Сознание, что я один и никто больше ко мне не зайдет,—на минуту подняло мое самочувствие. С огромным наслаждением растянулся я на узенькой и холодной брезентовой койке".

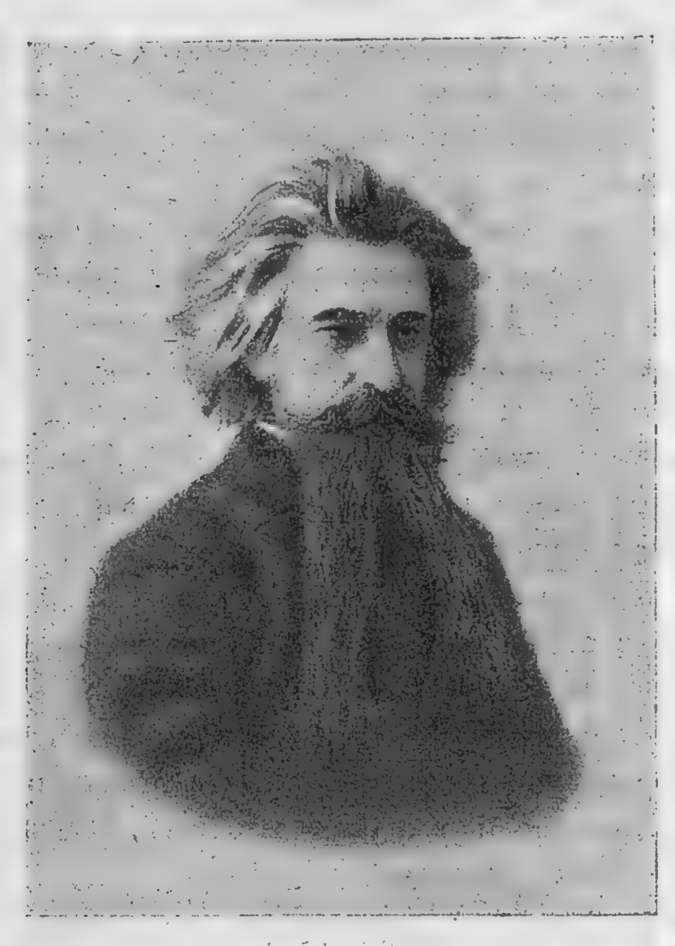
Знает ли, понимает ли это вот „наслаждение" просвещенный мореплаватель, культурный европеец, либеральный англичанин Джордж Кеннан?

Но вот начинаются дни тюремной жизни. Уже на завтра, едва в $4^3/_4$ утра зазвонил колокол, не успел еще арестант вскочить с койки, как отделенный уже здесь.

— Эй, сволочь, чего потягиваешься? Звонок слышал, так и так твою мать? Холера!

Удары по лицу, удары связкой ключей по голове сыплются на арестантов буквально на каждом шагу. Утром, вечером, днем, ночью. Крючок плохо пришит—в морду, ответил „не знаю", вместо „не могу знать",—в морду.

Это—система, из тисков которой не вырваться ни на минуту. Начальство не утруждает даже себя подыскива-



В. С. Соловьев.

нием каких-либо поводов для избиения. Стоит надзирателю лишь подойти к заключенному, как повод уже готов.

— Здорово!

— Здравия желаю, господин отделенный.

— Тихо отвечаешь, сукин сын!

И побои, бесконечные побои кулаком по лицу, сапогом в живот, связкой ключей по голове.

Стоит ответить хоть чуточку громче, и снова эта обязательная форма „Здравия желаю, господин отделенный“ делается поводом для избиения.

— Ты что орешь, бродяга, растуды твою душу? Товарищ я тебе?—И снова побои, зверские, валящие с ног. И если истязуемый инстинктивно пытается отодвинуться, это считается преступлением.

— Это еще что? Сопротивляться вздумал? Смирно стоять!—звереет начальство, усиливая истязания.

— Весь потный и мокрый, с ощущением боли в спине, шее и ушах, я прислонился в койке,—рассказывает И. Генкин:—Что ж будет дальше,—думал я.—Неужели каждый день терпеть подобные визиты? Да и как предупредить это? Кажется, и так уже согнулся до последней возможности. Или пойти на риск и на удар ответить ударом? Объявить голодовку, или в виде протеста сделать что-нибудь с собой, повеситься, облить себя керосином,—лихорадочно зашевелилось в голове.—Как ведут себя остальные товарищи? Ведь здесь же находятся такие боевики, которые на воле участвовали в предприятиях, изумительных по своей смелости и отваге. Неужели и они мирятся с таким режимом?

Но сговориться с товарищами и организовать хоть какой-нибудь отпор совершенно невозможно. Тюремная система продумана до деталей. В первое время, впредь до приручения новой партии—новичкам не только не полагается ни книг, ни письменных принадлежностей, ни выписки из лавки, ни передачи, ни переписки с родными, но не полагается и прогулки, т.-е. никаких сношений с другими арестантами. Есть только систематическое оглушение постоянными побоями и еще поркой. Порке подвергают всех без исключения. Даже больные, находя-

щиеся в больнице, за то, что не встали на утренней поверке, сейчас же выпороты. Учитель Андрулайтис,—рассказывает И. Генкин,—ни за что не хотел ложиться добровольно, сопротивлялся, метался во все стороны, кусал руки надзирателям, несколько раз со стонами и криками вырывался, но в конце концов был укрощен. На него навалилась целая ватага остервенелых и распаленных его сопротивлением надзирателей, и, если остальным давали по 30—50 розог, то Андрулайтиса пороли без счета. На 75 ударе он потерял сознание, но его еще долго истязали. Со скамейки его сняли совершенно истерзанным.

Система требовала порки массовой, всех без разбора, не только молодых и старых, уголовных и политических, рабочих и интеллигентов, но и еще одинаково и правых, и виноватых.

Если в данной, одиннадцатой камере, виноваты в том, что стучали, два арестанта, то к розгам приговаривают всех 18, кто только здесь помещался. Редкий счастливец, как Виктор Ковалев, осужденный по делу с.-д. фракции второй думы, успел принять яд, опиум. Но, например, старик Верба — описывает Генкин,—совсем рехнулся: вернувшись после порки назад в камеру, он вдруг пустился в пляс, призванивая в такт своими кандалами.

Помимо массового избиения в систему входят и побои поодиночке в общем строю. Поводом служит любая придирка к каждому из арестантов: — Ты как стоишь? Стоять, сволочь, не умеешь? Ты чего голову повернул?

Спокойно и как будто незлобиво описывает Генкин, как его били, систематически, ежедневно, долго и часто, унизительно и больно. Градом сыплются, напр., побои за

запаздывание в исполнении требования становиться во фронт, когда отделенный взглянет в глазок. Казалось, несчастный уже выдрессирован. Не успел кто-то подойти к дверному глазку, как заключенный стремительно соскакивает со скамейки и сразу же вытягивается, как полагается, руки по швам, во фронт. Но и это не помогает. „Отделенный с грохотом открыл дверь и, подойдя ко мне, начал бить меня по лицу.

— Ах, так и так твою мать! Сколько тебя разов учить? Говорено тебе было, когда в глазок смотрят, надо возле стола, а не возле скамейки становиться. Вот здесь, на этом месте. Понял? Понял, курва несчастная? Понял?

Не вынесши этих постоянных, систематических избиений, И. Генкин, в припадке отчаяния, пытается обратиться к старшему надзирателю Калафуто:

— Господин старший. Нельзя ли, чтоб меня не трогали. Ведь вы сами видели, что меня бьют зря, ни за что, ни про что.

В ответ на мои слова последовало буквально следующее:

— Ах, так и рас-так твою мать!—заревел на весь коридор Калафуто, ударив меня кулаком. Его зеленоватые глаза в миг потемнели, а лицо, и без того красное, совсем побагровело. Должно быть, мои слова заключали в себе нечто, по его мнению, сверх-возмутительное.— Ишь, с какими просьбами ко мне обращается! Если ты, тудыть твою мать, не будешь вести себя как следует, твоя морда сто раз в день в крови будет.—С этими словами он еще раз ударил меня в лицо, и вышел из камеры.

К сведению религиозных людей отметим, что в камере этой, как раз напротив парашки, была прибита икона с изображением Иисуса Христа и надписью. „Заповедь новую даю вам: любите друг друга".—Здесь в Орловской



Н. К. Михайловский.

каторжной тюрьме,—вполне основательно, но едва ли не излишне, прибавляет автор,—изречение это звучало кощунством и издевательством.

Личные переживания И. Генкина тем-то и значительны, что они сами по себе вовсе не являются исключением. Таковы общие правила жизни. Даже прогулки, какие по-

лагаются арестантам, происходят здесь не иначе, как при условиях сплошного мордобоя.—Ать-два. Левой, сволочи, левой. Ровней шаг, сукины сыны. Левой, бродяги!

„Было до слез смешно видеть взрослых, серьезных и интеллигентных людей, как, например, бледный и измученный социалист-революционер Дубовской, с вытянутой вперед шеей и выпученными в очках глазами, за подобным детским занятием, было до слез больно смотреть, как над ними издеваются“.

Сплошной мордобой неразлучен с этой шагистикой, как и со всей жизнью тюрьмы. „Ходили мы под эту команду.—Левой, сволочи, так-вашу-так,—не только во время прогулки, но даже, когда нас водили в баню, когда таскали дрова в кочегарку и т. д.“

Именно так живут все заключенные с первой минуты появления в тюрьме очередной партии.

„Пощечины доставались нам каждый день. Выходим в коридор за вещами, — бьют, вызывают нас для стрижки,—бьют. Не было дня, чтоб к нам не заходили два, три помощника с десятком надзирателей. Кобуры у них расстегнуты. Достаточно малейшего предлога, и вот уже снова сплошное избиение. „Разметают нас по полу, словно щепки. Всюду стоны и крики“.

Нервы напрягались до того, что, казалось, вот, вот лопнут. И, действительно, многие с ума сходили, делались настоящими маниаками.

„Из помощников больше всех издевался над нами Анненков. Когда-то он служил простым писарем при полиции, и теперь звание „его высокоблагородие“ разнуздало его. На прогулке бывало командует: „Бе-егом! Собака собаку догоняй. Собака собаке ровняйся“. И тогда всем приходится бежать по кругу, что есть сил. В другой раз

этот же Анненков под аккомпанимент обычной прогулочной команды:—Ать, два... Левой, левой,—бьет по очереди по физиономии каждого, кто проходит мимо него".

Прогулка неизменно сопровождается молитвой. Все обязаны громко, во весь голос, петь „отче наш". Вообще начальство строго следило за соблюдением всех правил православной веры: за отказ от говения, исповеди и т. п. полагалась жестокая кулачная расправа (вспоминаю, например, случай с социал-демократом С. Часовенным).....

Из 1.200 заключенных умирает при таком режиме до 200 человек в год. Десятки людей умирают от избиений, десятки людей сходят с ума, кончают с собой, то сжигая или удавливая себя в одиночках, то бросаясь в пролет лестницы, чтоб разбиться о каменный пол. Счастливцы доводят покушение до конца, неудачников успевают спасти и, жестоко избивши, волокут в темный карцер за нарушение правил.

— ... Человек,—это звучит гордо!—с грустной улыбкой вспоминает И. Генкин слова одного из героев в пьесе Горького.—Человек, это звучит гордо! Ну еще бы.

„Мне часто приходилось читать о душевных качествах русского простолюдина",—задумывается И. Генкин:—„так, Достоевский в своем „Дневнике Писателя" уверяет, что русский человек „простодушен, чист, кроток, незлобив, широк умом, честен, искренен,—и все это в самом привлекательном и гармоничном соединении". Даже слово крестьянин—Достоевский склонен производить от слова христианин, из чего-мол следует, что наше простонародие пропитано заповедями евангелия. Побывав во многих тюрьмах, я не могу без раздражения читать подобные хвастливые фразы".

Не следует думать, что Орловский централ является исключением. Очень много таких же описаний сообщают люди, сидевшие и в других тюрьмах. Д. Сверчков, находившийся в 1911 году в Москве, в Бутырской каторжной тюрьме, рассказывает то же самое:

И здесь были установлены особого рода „встречи“ для новичков. Коллегия, с начальником тюрьмы Дружининым во главе, встречала вновь прибывшего с изысканной любезностью.

— Как вы ехали? Не устали ли? Не думайте, что к вам отнесутся здесь без понятия. Мы всегда понимаем разницу между политическими и уголовными. Вы ведь люди идеи. Будьте добры переодеться. Вашу одежду придется возвратить в Петербургскую пересыльную тюрьму. Ну, что ты смотришь! Помоги переодеться,—обращается Дружинин к одному из надзирателей.

Но как только осужденный пробует завернуть ногу в поданные ему казенные портянки, которые до того малы, что сделать это невозможно, и он, по необходимости, откладывает их в сторону,—наступает момент, которого с нетерпением ждет вся „коллегия“: надзиратель Симановский вдруг с размаха бьет его кулаком в лицо. — Ах, собака! Казенным добром брезговать? Я тебя, туда твою мать, научу, как себя вести!

Этот переход от величайшей вежливости и был центром удовольствия всех собравшихся.

Такие нравы утвердились здесь прочно. Даже больных из больницы за проступки отсылают назад в камеру с предписанием „по прибытии дать 30 розог“.

„Режим в общих камерах был так невыносим“, — рассказывает далее Д. Сверчков,—„что многие старались попасть в больницу во что бы то ни стало. Я знал

много случаев, когда для этого выпивали настой махорки на кипятке, разрезав себе руку, насыпали в рану перцу и горчицы, ухитрялись вспрыснуть под кожу керосин, вызывавший опухоли и язвы, растравляли раны до того, что смотреть было страшно, пили мокроту чахоточных больных...

„Почти половина палаты были кандидатами, близкими на тот свет. Они не могли вставать, часто даже не могли поднести ложку ко рту.

„Из числа находившихся в нашей палате ежедневно кто-нибудь умирал. Без хотя бы одной смерти не проходило ни одного дня“.



Караулов.

Но и в этих условиях заключенные умеют все же жить и духовной жизнью. „Длинные, томительные дни“, — рассказывает Д. Сверчков, — „я тратил на чтение. После обеда стал ежедневно ходить на охоту. „Охота“ заключалась в следующем: я раскрывал „Анну Каренину“ Л. Толстого на том месте, где Левин отправлялся на охоту, и медленно прочитывал строчку за строчкой, останавливаясь и рисуя в своем воображении всю обстановку: болото, напряженно ищущую дупелей собаку и себя на месте охотника. Это доставляло мне огромное наслаждение“.

„Когда меня“, — рассказывает Д. Сверчков, — „поместили в изолятор для буйных сумасшедших, у меня

сердце радостно забилось. Я не думаю, чтобы кто-либо испытал такую сильную радость, какая охватила меня при виде этой узкой комнаты. Несколько дней я провел в возбужденном настроении. Даже надзиратель казался мне чрезвычайно милым и симпатичным человеком".

Но и при таком режиме жива душа у заключенных, и чем внимательнее изучаешь жизнь и быт тех кругов дантова ада, какие назывались политическими тюрьмами в царские дни,—тем яснее видишь, как величаво и гордо вели свою борьбу русские революционеры, как берегли они свою гордость, свое святое право на звание солдат революции.

* * *

Как дело измены, как совесть тирана,
Осенняя ночка черна.
Чернее той ночи встает из тумана
Видением грозным тюрьма.
Кругом часовые шагают лениво
В ночной тишине, то и знай,
Как стон раздается, протяжно, лениво:
„Слу-у-у-шай!"

Неустанная борьба заполняет всю историю русской политической тюрьмы. Какой буйный взрыв пронесся по всем тюрьмам России, когда по воле самодержца Александра III была впервые введена порка для политических, для мужчин и женщин одинаково. Ранее существовавшая только в качестве отдельной случайности, проявления личной изобретательности поместного начальства, — отныне порка утверждена, как общее правило. 8 марта 1888 года в Петербурге издан особый приказ о том, чтобы „никаких изъятий в применении наказаний розгами и плетью в пользу политических заключенных не допускать".

Среди бесчисленных результатов этого приказа особенно яркой оказалась карийская трагедия. Начальник тюрьмы Масюков требует чинопочитания от политической заключенной Солнцевой-Ковальской. Ковальская—в последней стадии туберкулеза и не в силах подняться с постели. Но Масюков с этим считаться не желает. Раз в камеру вошло начальство, Ковальская обязана встать и вытянуться во фронт.

— Разве она не знает, что она обязана приветствовать явившегося к ней начальника?—Она умирает. Ей безразлично, кто вошел в ее камеру. Все равно, она не в силах подняться...

Умирающую от туберкулеза Солнцеву-Ковальскую в наказание перетаскивают в одиночку. Тюрьма взволнована, но против этой дисциплинарной меры никто не возражает. Вскоре, однако, политические узнают обстановку дела: оказывается, начальник тюрьмы, Масюков, вошел в камеру больной Ковальской ночью; ночью же, в одном белье, ее потащили в тюремную контору: процедура переодевания больной в арестантское платье произведена Масюковым с грубыми шуточками, оскорбляющими женскую честь.

Вся тюрьма, как один человек, встает на защиту Ковальской. Заключенные в женском отделении тюрьмы подают генерал-губернатору жалобу, требуя наказания Масюкова. Нечего и говорить, что жалоба никаких последствий не имеет. Ведь начальник тюрьмы, Масюков, повинен не в снисходительности, а всего только в чрезмерной суровости к политическим. Этим карьеры не испортишь.

Но заключенные вынесли решение заступиться за оскорбленную Ковальскую не для проформы, а всерьез.

Они прибегают к самому серьезному виду борьбы, — к общей голодовке.

День за днем никто из заключенных не прикасается к пище. Обед по распоряжению администрации на целый день оставляется в камерах. Но это не действует. Никто ничего не ест. Исхудавшие, обессиленные женщины неподвижно лежат в углах своих камер.

После нескольких дней голодовки начальство тюрьмы всполошилось. Вот-вот начнут помирать пачками; оно бы ничего, да ведь на воле узнают. За скандал и от начальства нагореть может.

Чтобы прекратить голодовку, до сведения заключенных доводится, что Масюков подал прошение об отставке.

— Победа!

Голодовка прекращена. Как ни надорваны силы, но, узнав о победе, новую бодрость обрели заключенные.

Но, когда проходит несколько дней, оказывается, что сообщение об отставке Масюкова—ложь. Генерал-губернатор, будто бы, „не принял" масюковского прошения об отставке.

Оскорбивший Солнцеву-Ковальскую и в ее лице всех заключенных, ненавистный Масюков остается здесь же, на прежнем посту.

Нет, этого заключенные не допустят! „Лучше смерть, чем позор". Объявлена новая, вторая голодовка.

До предела дошли муки голодающих. „Люди стали тенями". Не в силах приподняться, не в силах говорить, они все крепко держатся общего решения, все, как одна, бестрепетно ждут голодной смерти.

Даже Масюков смущен.

— А что, если того... Опять бы им что-нибудь этакое сообщить... В первый раз помогло ведь.

И вот до сведения заключенных снова доводится известие об одержанной ими победе. На этот-то раз дело верное! Вон даже телеграмма от генерал-губернатора получена. Яснее ясного сказано: „Начальник тюрьмы Масюков для пользы службы переводится с такого-то числа на новую должность“.

Снова поверили измученные, несчастные люди. И опять успокоилась администрация тюрьмы.

— С голодовками ихними еще возись! До чего народ беспокойный.

Но вот прошло несколько дней. Выясняется, что и на этот раз известие о переводе Масюкова—сплошная ложь. Никакой телеграммы от генерал-губернатора нет и не было.

На этот раз администрация тюрьмы уверена, что вопрос завершен. Ведь, не в третий же раз голодовку начинать. На это и у них сил не хватит.

Но заключенные женщины все так же дружно, все, как одна, начинают голодовку в третий раз.

Идут дни за днями. Проходит неделя, и еще неделя. Уже прошло семнадцать мучительнейших дней голодовки. Уже никто из заключенных не в силах шевельнуться. То у одной, то у другой из заключенных стали проявляться признаки буйного помешательства от голода.

Тюремное начальство объявляет угрозу приступить к насильственному питанию.

— Клистиры из рисового бульона ставить будем,— заявляет начальник тюрьмы Масюков.

Неужели еще и эту пытку придется пережить несчастным?

...Надо покончить с мучительным положением. Надо добиться победы.

Одна из заключенных, бывшая городская учительница в Петербурге, арестованная по делу тайной типографии „Народной Воли“, Надежда Сигида, решает пожертвовать собой, чтобы положить конец невыносимому положению.

— Все стоят за одного... Она одна сумеет постоять за всех.

Через тюремного сторожа Надежда Сигида требует свидания с Масюковым. „По важному делу“. Когда ее приводят в контору тюрьмы, она здесь исполняет свой план. Она наносит Масюкову удар по лицу. Ее повесят? Ну, конечно! Пусть! Но не останется, ведь, на своем месте после этого оскорбления Масюков.

Надежда Сигида была твердо убеждена, что ее повесят, и спокойно ждала смертной казни. Но судьба ее оказалась иной. Заключенным объявлено, что согласно новому, введенному по высочайшей воле, порядку о телесных наказаниях политических, Сигида будет высечена.

Общее возмущение заключенных выходит за пределы женского отделения тюрьмы. Заключенные в мужском отделении, их всего тридцать человек, заявляют смотрителю, что они все покончат с собой, если приказ о порке будет осуществлен. Это заявление, конечно, не останавливает начальства тюрьмы. Твердая власть верна себе до конца.

Тюремный врач уже получил предписание об осмотре Надежды Сигиды. Он должен освидетельствовать, „в состоянии ли данное лицо вынести наказание“.

Здоровье Сигиды оказывается слабое. У нее болезнь сердца, и врач свидетельствует, что она ни в каком случае не вынесет предписанных ста ударов. Твердая власть негодует.—Это еще что за выдумки. Немедленно привести в исполнение приказ о порке.

Тюремный врач, по правилу, обязан присутствовать при экзекуции. Но врач от этого отказывается. На телеграмму, сообщавшую об этом отказе, получается телеграфное приказание: привести приговор в исполнение без присутствия врача.

Шестого ноября приговор в исполнение приведен.

Сигиде дано сто ударов. 8-го ноября Надежда Сигида скончалась. „От последствий сечения", — констатирует протокол об ее смерти.

Надежда Сигида умерла 8-го ноября. Но уже седьмого числа, на завтра после экзекуции, заключенные коллективно осуществляют свой обет совместного самоубийства. Количество яду, какое путем невероятных трудностей удалось получить от друзей с воли, очень невелико.— Кто больше всех заслужил чести умереть? В первую очередь привилегия смерти, право на получение яда признается товарищами за ближайшими подругами Надежды Сигиды, Марией Ковалевской, Светлицкой и Калюжной. Они сидят с ней в одной камере. Они—вне очереди. Все три женщины умирают от яду 8-го ноября, в тот же день, когда скончалась и замученная Сигида.

Оставшийся яд делится поровну между всеми тридцатью заключенными на мужском отделении.

Яду мало. Вместо быстрой смерти наступают длительные мучения. Только двое, Иван Калюжный и Бобохов, оказались удачниками и умерли через несколько часов. Остальные долго извиваются в судорогах и мучительнейших конвульсиях, и тюремная стража успевает применить насильственный прием рвотного ко всем остальным, дошедшим до предела отчаяния людям. Твердая власть торжествует.

* * *

Карийская трагедия не является исключением. Таковы традиции. Как похожа на драму Надежды Сигиды Зерентуйская трагедия, стоившая жизни целому ряду заключенных, в том числе Егору Сазонову.

Политические каторжане Горно-Зерентуйской тюрьмы, кого старается усмирить и „подтянуть" только что назначенный новый начальник, Высоцкий, держатся стойко.

— Ты по какому делу сидишь? — спрашивает новое начальство каждого из политических при приемке тюрьмы.

— Я на „ты" не отвечаю, — отвечает каждый из политических. — Взять в карцер этого мерзавца! — командует начальник. — Следующего! Ты по какому делу осужден?

— Я на „ты" не отвечаю, — снова и снова отвечают один за другим все политические, и всех их поодиночке волокут в карцер.

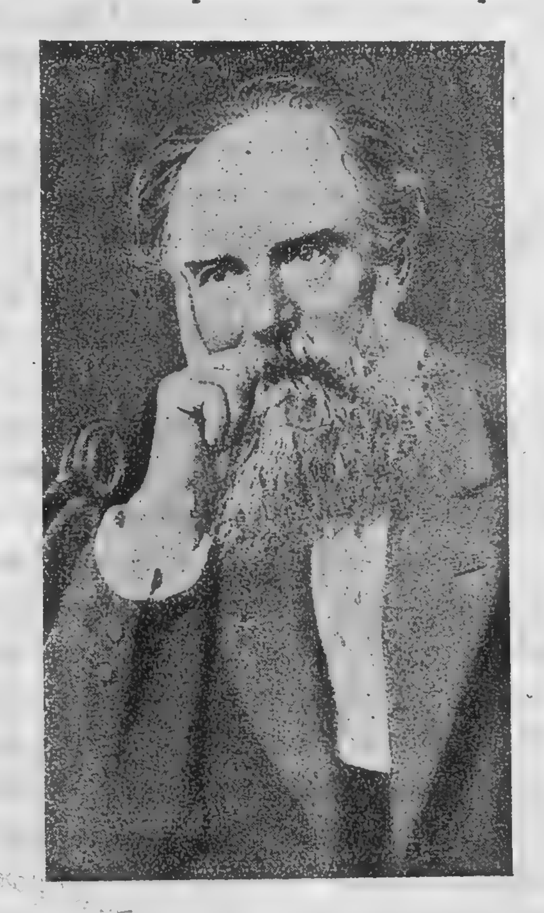
Новый начальник, Высоцкий, решил полностью провести „уравнение политических с уголовными".

— Между тобой, политическим, и вот этим уголовным разницы нет и быть не может. Ты это помни. Что он за три рубля вырезал целую семью, а ты убил губернатора из каких-то других преступных побуждений, — это мне не интересно. И ты, и он, — каторжники одинаковые, понял?

Но понимать это политические отказываются безусловно. Они считают своим долгом оберечь старые традиции, выделяющие политических. Попрежнему все политические отказываются отвечать на все вопросы, заданные на „ты". Уже все они посажены в карцер. Уже вся шестая камера, где сидели политические, объявлена „на каторжном положении", но заключенные попрежнему стоят на своем твердо. — Пусть уберут

Высоцкого, или всех политических переведут в другую тюрьму.

Начальство тюрьмы ретиво принимается за дело усмирения. В качестве меры уравнения в правах,—политические разогнаны по уголовным камерам. Но и теперь оказавшись в одиночестве среди бандитов и убийц, каждый из политических свято оберегает свои позиции.



Н. В. Чайковский.

Для дальнейшего уравнения в правах начальство решает ввести наказание политических розгами. — Умрем, но не дадимся,— решили заключенные.

В коридоре собрана толпа надзирателей. На полу кучей навалены розги. — Ну-ка, посмотрим, кто кого, — грозится Высоцкий.

Раньше всего надо разъединить заключенных.

— Михайлов! Выходи на коридор, — командует начальство.

Михайлов выйти отказывается. Вызван из казармы конвой.

— Товарищи! ложись все на пол,—решают заключенные.

Но и эта мера не помогает. Перевес сил на стороне конвойных слишком очевиден. Во-всю работают штыки

и приклады. Заключенные оттеснены в сторону. Михайлов кольцом окружен надзирателями и солдатами.

— Дать ему 50 розог, — торжествующе командует начальство.

Михайлов бледен, тяжело дышит. Вдруг он выхватывает что-то из кармана. Надзиратели, испугавшись, что у Михайлова револьвер, бросаются в стороны. Но в руках у Михайлова бутылка. Быстро запрокинув ее над головой, он успевает проглотить содержимое.

Азотная кислота действует быстро. Михайлов с пожелтевшим лицом падает на пол.

— Тащи его в больницу! — командует Высоцкий.

— Палач! Убийца! — кричат политические.

Крики не действуют. Сила попрежнему на стороне Высоцкого. Новая команда, новое избиение прикладами. Начальство победило. Наказан розгами Федор Петров. Наказан розгами и другой политический, Сломянский.

Политические объявляют голодовку, но положения дела и это не изменяет. Высоцкий твердо держит курс на усмирение. Среди заключенных начинается тогда эпидемия самоубийств. Принял яд Петр Кунзин, зарезался ножом Одинцов. В людях, готовых во имя протеста пожертвовать собой, недостатка нет. Но самоубийства редко удается довести до конца. Пухальский и Маслов попытались зарезаться, не удалось. Надзиратель заметил. Их спасли и отняли нож. Федор Петров облил себя керосином и поджог. Самосожжение не удалось. Мало керосину оказалось в лампе.

И вот здесь-то не мог не вмешаться Егор Сазонов. Надо во что бы то ни стало добиться победы политических. Раз война объявлена, она должна быть выиграна. И Егор Сазонов бросает на весы и свою жизнь.

* * *

„Изучение прошлых битв — урок будущим борцам“.

Теперь, в наши дни, не понять, не вообразить того всеобщего вздоха облегчения, какой вызвал по всей России взрыв бомбы, убившей Плеве. Даже принципиальные враги индивидуального террора не могли не отозваться на это событие. „Радостно вздохнет каждый обитатель обширной Руси, услыхав благую весть“,—начиналась, напр., прокламация, изданная по поводу убийства Плеве петербургским социал-демократическим комитетом.

Известный своей резкостью, генерал Драгомиров писал об убитом Балмашевым министре внутренних дел Сипягине: „Какая у него внутренняя политика. Он просто егермейстер и дурак!“

Убитый Сазоновым заместитель Сипягина, Плеве, не был егермейстером, не имел права и на звание дурака, но тем очевиднее оказался тупик, в какой он завел правительственную политику.

— Он ненавидел революцию—говорит о нем Л. Троцкий—бешеной ненавистью состарившегося сыщика. Он преследовал смуту с налитыми кровью глазами. Но и он был так же бессилен против народного движения, как и его предшественник. Как будто все различие между ними свелось к тому, что Сипягин был убит револьверной пулей, а Плеве разорван бомбой.

— Как социал-демократ,—говорит Д. Сверчков,—я был против террора. Но я вместе с тем хорошо понимал, что ни один независимый и справедливый суд не мог бы найти другой оценки деятельности Плеве, как хорошую, крепкую веревку.

— Мы, противники индивидуального террора,—прибавляет Д. Сверчков,—мы знали, что устранением отдельных

лиц ничего добиться нельзя, что важны не отдельные министры, что низвергнуть правительство можно только подняв против него революционные массы. Мы знали, что террор даже вреден, ибо он отклоняет от борьбы народ, вселяя в него уверенность, что за него борется кто-то другой. Но мы не могли не преклоняться перед геройством тех, кто шел на верную смерть во имя мести за притеснение народа".

„Убийца производит впечатление скромного молодого человека",—говорит справка департамента полиции о Сазонове:—„лоб—прямой, высокий, нос—римский, лицо—продолговатое и румяное, в веснушках, рот — маленький, губы — тонкие".

В письме к товарищам из тюрьмы Егор Сазонов так описывает обстановку дела 15 июля 1904 года.

„Обстановка",—пишет он,—„была обычная, плевинская. Усиленный наряд полиции, конной и пешей. На тротуаре цепи агентов самой разнообразной формы: босяки и элегантно одетые господа, то стоящие в задумчивой позе, то прогуливающиеся ленивой барской походкой. Но на всех лицах каинова печать. У всех алчные, загадочные, блудящие, нахальные взоры. Жутко и весело идти с бомбой под перекрестным огнем таких взоров".

„Я подошел к карете почти вплотную", — описывает Сазонов: — „Я увидел, как Плеве быстро переменил положение, наклонился и приник к стеклу. Мой взгляд встретился с его широко раскрытыми глазами. Наконец-то мы повстречались!

„Медлить было нельзя. Я плавно раскачнул бомбу и бросил, целясь прямо в стекло. Что затем произошло, я не видел и не слышал.

„Когда сознание вернулось, я лежал на мостовой. Первая мысль, это удивление, что я жив. Я встрепенулся

чтобы подняться, но не чувствовал тела. Как будто, кроме мыслей, у меня ничего не осталось. Блаженство победы, охватившее меня, вырвалось в крике: — Долой самодержавие! Да здравствует боевая организация! По показаниям свидетелей я крикнул: — „Да здравствует свобода!“

Первым навалился на Сазонова после взрыва агент-велосипедист Гартман, всегда сопровождавший карету Плеве. „Он упал на меня“, — описывает Сазонов — „придавил меня своим телом... и началась, обычная в таких случаях, история. Велосипедист первый начал меня бить. На суде он сам очень живописно изображал, как именно он бил меня: — „Сначала я ударил его по правой щеке, — докладывал он, изображая жестами свою энергию, — а затем ударил по левой щеке“... На крики велосипедиста подбежал полицейский чин, стал пинать меня и кричать: „Ах ты, сволочь, чуть и меня-то не убил!“ Подбежали еще и другие... Били меня, кто как хотел: кулаками, пинками, в лицо, в голову, в бока, ноги, топтали меня. Но я не чувствовал ни боли, ни обиды. Мне было все равно. В блаженстве победы и спокойствия приближающейся смерти тонуло все. Было одно противно, когда стали плевать в лицо. Какая-то красная, остервеневшая от злобы, рожа, склонилась надо мной и звучно, смачно харкала мне в глаза“.

Спокойно и эпически рассказывает о течении событий Сазонов:

„Били меня раньше на мостовой, затем решили унести меня с улицы. Схватили за ноги и поволокли, так что голова стучала о мостовую. Втащили на третий этаж Варшавской гостиницы в отдельный номер. Пока тащили по лестнице, с молчаливой злобой угощали меня пинками

в спину, щипали. Бросили на голый пол, сорвали всю одежду и опять били со скрежетом зубовным. Долго ли я пролежал там нагой на полу, — не помню. Был в полузабытьи. Как сквозь туман видел, что в комнате толпились полицейские, жандармы, судейские. Будто бы кто-то ощупал мне голову и сказал: „Будет жив, но бить опасно".

Карета Плеве была блиндирована, но эта предосторожность не спасла министра. Всю карету разнесло в щепки.

Как только Сазонов был перевезен в больницу, власти сразу же приступили к допросу. Допрашиваемый весь изранен. Кроме оторванных пальцев рук и ног, и иных контузий от осколков бомбы,—у него большая рана в правой стороне живота. Прорваны, кроме того, обе барабанные перепонки. Но задержать допроса это не может.

— По словам видевших меня в то время,—рассказывает Сазонов, — на меня страшно было смотреть. Я весь был разбит и избит. Лицо вспухло, щеки отвисли мешками, глаза вышли из орбит, у подбородка как бы образовался зоб. Все тело, опаленное с ног до головы, было в бинтах и повязках.

Как ни истерзан Сазонов, но силу воли он умудрился сохранить, и отвечать на вопросы следователя он отказывается. Он — член боевой организации, убил он министра сознательно и с заранее обдуманным намерением, фамилии своей назвать не желает.

Департамент полиции и охранное отделение стараются превзойти друг друга в изобретательности, чтобы раскрыть имя этого „неизвестного, бросившего бомбу". Агенты подсылаются к больному то под видом врача, то фельдшера, то сестры милосердия. Среди агентов фигурирует в качестве „доктора" и вызванный на гастроли знаме-

нитый провокатор Гурович, бывший „редактор-издатель марксистского журнала „Начало“. Но все эти ухищрения остаются безрезультатны. Сазонов ничего не отвечает на расспросы. Два агента, неотлучно присутствующие у постели больного, тщательно записывают все слова, произносимые им во время бреда. В те минуты, когда к больному возвращается сознание, его шантажируют уверениями, что все уже известно. Все равно его бред уже выдал всю организацию. Скрываться больше незачем и не для чего. Члены организации уже переловлены. Все они дают „откровенные показания“ и издеваются над ним, дон-кихотствующим.



С. И. Бардина.

Но и эти меры безрезультатны: весь растерзанный, Сазонов держится крепко и ни на какие вопросы не отвечает.

После революции опубликованы письма Егора Сазонова к его родным. Какая большая, какая чистая и глубокая душа подлинного революционера отразилась в этих интимных письмах!

— „Дорогие мои, жив я, и жива душа моя“,—начинается письмо от 1905 года: — „У меня нет страданий“,— пишет Сазонов матери: — „Я не могу страдать и мучиться. Что бы мне ни выпало на долю, все, даже смерть, я приму с радостью за то святое дело, которому я на веки вечные

отдался. Если бы мне самому не пришлось дожить до того момента, когда мое дело окончательно победит, я не пожалею. Если мы умрем,—дело, которое мы любим больше всего на свете, будет жить! Не оплакивай же меня, потому что я счастлив, так счастлив, как только может быть человек. Думай обо мне, не как о несчастном, страдающем сыне. Думай обо мне, как о молодом, здоровом, сильном и бодром человеке, который радостно живет для своего великого дела".

И в другом письме к родным те же ноты: „Родные мои, ненаглядные! Поднимите свои поникшие под тяжестью горя головы. Глядите всем прямо в глаза. Ваш сын был честный солдат и сражался за то, что он считал правдой. Народ скажет про меня и про моих товарищей, казненных и оставленных в живых, как сказал на суде мой защитник: „Бомба их была начинена не динамитом, а горем и слезами народа. Бросая бомбу в правителей, они хотели уничтожить кошмар, который давил народную грудь".

„Мои добрые, мои старенькие, папа и мама. Вот шлю вам цветок, эдельвейс. Посмотрите, какой он чистый, как будто седой. Это потому, что растет он в горах, откуда открываются далекие дали. Видя далеко, он знает так много горя на свете, и седеет!".

„Удивляюсь я нащей публике",—пишет о своих сотоварищах по каторге Егор Сазонов из Горного Зерентуя:—„Стены, неволя. У каждого на воле страдает какая-нибудь близкая, дорогая душа, питаются скверно, и все-таки это такой веселый народ, столько хранит в себе бодрости и сил, что, глядя на него, еще больше веришь в грядущее счастье. А твои личные несчастья тонут в море общего, когда подумаешь, что все они, твои товарищи, испыты-

вают то же, что и ты. Еслиб вы знали, как хорошо чувствовать себя частицей большого целого, не иметь ничего своего, не только имущества, денег, куска хлеба,—все, все общее—но и ощущения своей отдельности... Горе и радость—все общее. Этот секрет и делает нас столь выносливыми и бодрыми, столь мало чувствительными к тому, что там где-то, на воле, принято называть личными несчастьями“.

„Победить—счастье, но и погибнуть в борьбе за победу своего идеала тоже великое счастье. Вы видели меня, когда мне угрожала смерть, видели и тогда, когда я уходил в Шлиссельбург, может быть, навеки. Вспомните, походил ли я тогда на несчастного? Не казался ли я, напротив, женихом, празднующим свою свадьбу“.

Как трогательно и нежно говорит в своих письмах Сазонов о своих товарищах. „Мои незабвенные, милые, Балмашов, Каляев“ — вспоминает он. Особенно нежные слова посвящет он Г. А. Гершуни: „Мне доставляет гордую радость“,—пишет он из Горного Зерентуя—„видеть то уважение, которое окружает нашего дорогого Григория Андреевича. Все, если не видят, то чувствуют цену этого человека. Как я ни был подготовлен к тому, чтобы полагать за ним различные таланты, но все же приходится удивляться ему. Он возвышается над всеми на целую голову“.

„Это не правда, что у меня нет жизни“,—пишет он в одном из писем с каторги.—„Я живу самою полною, самою счастливою жизнью. Я испытываю величайшее в мире счастье жить так, как велит моя совесть, жить для своей правды. Я умру, но моя правда, то, что для меня дороже жизни, останется. Она восторжествует, она будет жить вечно, а вместе с нею буду жить и я.

Не жалейте меня, завидуйте мне. Я счастливейший из смертных. Пусть идут зимние вьюги, ледяные оковы, зимний гнет. Я живу для весны, для будущего. Я чувствую,—мое сердце велико, и охватывает всех, кому нужна любовь и сочувствие. У меня много горя, но много и радостей. Я всем своим существом слился, спаялся с моим народом. Да здравствует мой брат, моя мать, моя невеста— моя родина!“.

Но вот, Г. А. Гершуни бежал. „Спешу поделиться с вами великой радостью“, —пишет в письме от 13 октября 1906 года своим родным Егор Сазонов; — „радостью, которая выпала на долю акатуевских узников. Наша гордость, наш дорогой Григорий Андреевич, сегодня вдруг не оказался при вечерней проверке. Тюрьма моментально узнала о побеге Гершуни. Гогочет от восторга. Начальство бросилось в деревню, в Акатуй, оцепили войсками всю окрестность, перерыли все, сундуки у баб, заглядывали в подполья, в погреба, на сеновалы, даже в кринки с молоком, все искали Гершуни. Только утром на следующий день вспомнили, что вчера утром вывезли из тюрьмы в погреб бочку с капустой. Бросились в погреб. Большая бочка, наполненная капустой до половины. Порылись в капусте и нашли гутаперчевую трубку, ввинченную в дно. На этом основании предполагают, что Григория Андреевича вынесли в этой капусте. А чтоб ему можно было дышать и была проведена трубочка в рот“.

„Начальник рвет и мечет, а мы злорадствуем. Нет, серьезно, вся тюрьма отнеслась с самой искренней радостью, как будто сознает всю громадную важность события. Начальник сказал: „Ушел только один человек, но он стоит полтюрьмы“. Неправда, целой тюрьмы, даже неизмеримо больше!“.

Подробные сведения о судьбе Егора Сазонова находим в книге И. Брильона „На каторге“.

„Кто хоть раз в жизни видел Е. С. Сазонова, у того—говорит этот автор,—навсегда осталась в памяти эта удивительно благородная личность. И в словах и в движениях его были тонкость, красота и мягкость. Сазонова любили все. Он часто получал с воли посылки и деньги. Но он не умеет никому ни в чем отказывать, и поэтому материально всегда жил хуже других. Скоро даже уголовные, которые эксплоатировали его мягкость, увидели, что это за человек, и перестали его обманывать, стыдились. На моих глазах произошла такая, напр., сцена, — рассказывает И. Брильон: — Уголовный просил у Сазонова денег. Подходит к нему воротила тюрьмы, отзывает в сторону и обрушивается на него.

— Ты знаешь, у кого ты берешь? Ты же знаешь, что он тебе не откажет. Последнее отдаст, а сам страдать будет. Это не человек, а святой. Понимаешь? Таких обижать нельзя.

Но жизнь только и делала, что „обижала“ Сазонова. Попав на Зерентуйскую каторгу, он, как мы знаем, увидел себя в необходимости покончить жизнь во имя протеста против ужасов каторжного режима.

Как не хотелось умирать Сазонову! Но он не считает себя вправе уклоняться от смерти.

Начальство с ним считалось. Сазонов был популярен и среди широких народных масс. Он знал это, знал, что его трагическая смерть не может не обратить внимания общества на зерентуйские ужасы.

— Товарищи, — пишет Егор Сазонов в последней записке своей: — Сегодня попробую покончить с собой. Если чья-нибудь смерть может приостановить дальней-

шие жертвы, то прежде всего, моя. А поэтому я должен умереть. Чувствую это всем существом моим. Так больно, что не успел предупредить двух покончивших с собой сегодня!"

* * *

За время, прошедшее от убийства Плеве, бессрочная каторга оказалась по двум манифестам настолько сокращена, что Е. Сазонову оставалось всего три месяца заключения. После долгих лет испытаний—уже видна, уже близка новая жизнь. Старушка, мать Сазонова, успела уже выехать в Сибирь, чтобы после долгих лет разлуки, встретить любимого сына при выходе его на поселение. Но, когда она приехала, Сазонов был уже в могиле.

Нестерпимо, мучительно хочется жить Е. Сазонову, но долг пред товарищами важнее жизни.

„Надо остановить дальнейшие жертвы. Я должен умереть. Чувствую это всем существом своим".

В предсмертной записке, обращенной к товарищам, Сазонов не скрывает, как сильно влечет его жизнь, как мучительно умирать, ему, успевшему столько перенести. „Если бы не надежда, что моя смерть может приостановить жертвы, то непременно остался бы с вами жить и бороться, товарищи", — пишет он, посылая „прощальный сердечный привет друзьям" в ночь на 27 ноября 1911 года.

Жертва Сазонова не прошла даром. Брошенная им на чашку весов жизнь оказалась достаточно веской, чтоб перетянуть коромысло в сторону политических. Требования политических были удовлетворены. Правда, усмиритель Высоцкий остается на прежнем месте, но требование заключенных о переводе их в другую тюрьму выполнено. Все оставшиеся в живых политические переведены изпод начальства палача Высоцкого в другие тюрьмы.

„Ломоносова нельзя отставить от академии, но зато академию можно отставить от Ломоносова“.

Егор Сазонов умер, как и жил. В свое время он победил Плеве. Всесильный министр был убит, а Сазонов случайно остался жив. Теперь он победил начальника тюрьмы, Высоцкого. Но Высоцкий—жив, а нежный, самоотверженный Сазонов погиб, как гибли многие и многие революционеры в той борьбе, какая заполняла их жизнь и в тюрьме, как и на воле.

...Вечная память!

ГЛАВА III.

„Мстители".

Подлинно героическое в революции вовсе не связано, конечно, с внешней эффектностью подвига. Истинный героизм чаще всего проявляется в долгой, напряженной, повседневной работе революционера. Здесь нет эффектных взрывов бомб, нет эшафота, на какой можно взойти бесстрашно и картинно. Пред нами рабочие будни. Но какой величавый и подлинный героизм скрывает эта повседневная работа!

Стоит вчитаться хотя бы в те страницы русской истории, какие посвящены эпохе хождения в народ.

Время было на Руси глухое, тяжелое время. Не только темная крестьянская масса, но и так называемая интеллигенция, образованные слои, в массе своей бесконечно равнодушны к делу освобождения и вообще ко всяческой политике. „Можно было притти в отчаяние от революционного одиночества, в котором мы жили", — говорит об этих днях Вера Фигнер.

Что делали в деревне эти „ушедшие в народ" люди?

Вера Фигнер, окончившая медицинский факультет, выступает в качестве фельдшерицы.—В первый же месяц я приняла 800 человек больных, а в течение 10 месяцев 5,000 человек,—рассказывает она: — Приходила какая-нибудь несчастная баба, страдающая кровотечением,

явившаяся пешком за 60—70 верст. Приводили седых, как лунь, стариков, 15—20 лет тому назад потерявших зрение. Как вести пропаганду в этой среде?

Наряду с лечением деревни,—шли попытки учебы. Сестра Веры Фигнер, Евгения Николаевна, открыла школу. Школа нужна очень: в соседних трех волостях школы нет ни одной. Но, чтоб собрать человек 25 учеников и учениц, пришлось объявить, что детей не только обучают даром, но что даром же раздают учебные пособия. Отцам не придется покупать ни бумаги, ни перьев.



П. В. Карпович.

Только таким обещанием удалось залучить в школу детей.

Для деятельности в деревне нужны средства не только на личную жизнь, но и на лекарства, на учебные пособия. Работа требует, однако, не только средств, но еще и самоотвержения. Отдавать приходится себя целиком.

Покончив отнимавшие целый день занятия в аптеке и школе, обе сестры Фигнер с книгами в руках идут на деревню, к кому-нибудь из крестьян, созывают соседей и до глубокой ночи читают мужикам вслух Некрасова, Лермонтова, Щедрина. Книг, доступных для народа, было в те времена так мало, что после долгих поисков специальной литературы удалось найти только две книги,

обе суворинского издания: „Земля и народы, ее населяющие“ и „Земля и животные, на ней обитающие“.

Рассчитывать можно было только на собственные рассказы.

Недостаток реальных ценностей, какими бы можно поделиться с крестьянами, восполняли ценностями идейными.—Мы старались,—рассказывает Вера Фигнер:—вести жизнь самую простую. Не только роскошь, но и тень роскоши была изгнана из нашего обихода. Мы не употребляли белого хлеба, по неделям не видали мяса, каждый лишний кусок становился нам поперек горла среди общей бедности и скудости.

Мужики хоть и медленно, но начинают все же привыкать к новым людям в деревне, начинают верить им и любить их. Но именно поэтому вокруг них клокочет дружная ненависть.

Недоволен волостной писарь, от которого пришельцы отбивают хлеб безвозмездным писанием прошений и писем. Недоволен поп, который уверяет, что, со времени приезда этих нигилистов, храм божий посещается мало, усердие оскудело, народ стал дерзок и своеволен. Урядник—тот и вовсе в ужасе. Получены сведения, что пришельцы внушают на селе, что бога нет, а царя не надо.

Со всех сторон сыплются доносы на пришельцев. Все яснее и отчетливее видно, что легальным путем ничего не добиться. Идут массовые аресты. По всей России тщательно ловят „стриженых, которые против царя идут“.

Именно такая незаметная по виду работа являлась главной не только в те далекие времена.

Стоит, напр., взять в руки хотя бы изданный Истпартом сборник „Техника большевистского подполья“, чтобы

и в недавние сравнительно годы увидеть примеры такого же рода будничного, повседневного героизма. Пред нами типография, одна из многих, устроенная для печатания нелегальных изданий в Москве. Снят магазин, в котором для виду устроена „Торговля сухими фруктами". В подвале магазина долгим кропотливым трудом устраивается колодец. Из этого колодца проводится боковой туннель под капитальный фундамент. Работа производится в глубокой тайне. Чтоб не вызвать подозрения окружающих, землю из подкопа упаковывают в ящики и рассылают в разные города России „до востребования". Прокопав капитальный фундамент, туннель расширяют и выкапывают пещеру около сажени вышины.

Три месяца отнимает эта предварительная работа, но вот,—наконец-то!—в пещеру удалось доставить части типографского станка. В земляной стене вырыты углубления для наборных касс.

„Вход в туннель был устроен настолько конспиративно, что, если бы к нам пришли с обыском, то ни в коем случае типографии обнаружить не удалось бы".

Для работы выбираются „лица, прошедшие суровую партийную школу". Работники отказываются от какой бы то ни было личной жизни.—Когда мне,—рассказывает т. Стуруа,—в первый раз было предложено пойти на эту работу, т. С. Енукидзе мне заявил: „Будешь выходить в месяц полтора раза из помещения. Все же время будешь находиться в подвале, и больше никаких". Я немного недоуменно спросил: „Как же можно полтора раза выходить? Я понимаю, что можно выходить один или два раза" Он мне на это ответил: „Ты в два месяца будешь выходить три раза для того, чтобы попасть в баню, и если три выхода разделишь на два месяца, получишь полтора

выхода“. Такой же режим применялся ко всем, работавшим в типографии товарищам.

— Работа у нас шла беспрерывно, круглые сутки. Два печатника и четыре наборщика работали посменно. Работа в земле была настолько тяжела и невыносима, что долго никто не выдерживал. Я как-то настолько привык к этой работе,—рассказывает т. Стуруа,—что выносил ее совершенно спокойно, но заболел туберкулезом хрящей гортани.

Рядом с этими скромными, на поверхностный взгляд незаметными героями-тружениками, революционное движение знает, однако, еще и иных борцов.

Убивший Сипягина Балмашов, поразивший Боголепова Карпович, уничтоживший Плеве Сазонов, взорвавший вел. кн. Сергея Каляев, застрелившая генерала Мина Зин. Коноплянникова... Кто они, эти люди, кого объединяет общая кличка „террористы“?

Если б нужно было указать человека, который отразил в своем лице всю эту секту террористов, назвать наиболее типичное и яркое имя среди всей этой фаланги кровавых мстителей, отдавших свою жизнь во имя будущего России, — то в первую очередь нельзя было бы не назвать имени Ивана Каляева. В нем с совершенной четкостью и полнотой воплотился образ русского террориста.

В написанных на Акатуйской каторге воспоминаниях о Каляеве, ближайший товарищ его по террористической деятельности, убивший Плеве Егор Сазонов, говорит:

— Первое, что бросалось в глаза в Каляеве, — это общее впечатление внутреннего сияния. Большие, светлые, горевшие глубоким светом, глаза. Худощавое лицо аскета с улыбкой ясной и озаряющей. — Юноша Сергей Радонежский на картине Нестерова, — пришла мне мысль,

но не удовлетворила меня. Глаза немного насмешливые и слишком проницательные. Широкий благородный лоб. Одет изысканно, со вкусом. Изящество во всем, в костюме, в манерах.

Каляев не только революционер. „Поэт“ — называют его все окружающие.

— Почему мы с вами называемся революционерами?— запальчиво говорит Каляев Сазонову: — Неужели только потому, что боремся с самодержавием? Нет! Прежде всего, мы рыцари духа. Мы боремся за новый мир, который мы предварительно обрели в наших мыслях.



И. Каляев.

Весь захваченный мечтой об этом новом мире, которому он решил целиком и без остатка отдать свою жизнь, Каляев возбужденно продолжает:—Мы видим уже стройные контуры нового мира, можем осязать их. Мы хотим свести наш идеал с неба нашей души на землю, не смущаясь тем, что он для многих еще непонятен. Наша задача расчистить почву для нового мира. И потому, — долой всю старую земную рухлядь... И самодержавие в том числе.

Первое дело, в каком выступает в качестве ближайшего участника Ив. Каляев,— это убийство Плеве, рассказанное в подробностях в „Воспоминаниях“ Б. В. Савинкова.

Обладающий в боевой организации с.-р. самодержавными правами, Азеф поначалу отказывался принять

в организацию И. П. Каляева, и отвергнутый чуть не плачет от горя. Прошло немало времени, пока Азефа удалось переубедить, и вот Каляев „с его бледным, интеллигентным лицом с тонкими чертами и со скорбными большими глазами“, в качестве уличного торговца, неотступно следит, держась неподалеку от департамента полиции, за каждым выездом В. К. Плеве.

К тому дню, когда Савинков вместе с Каляевым и Сазоновым был командирован на совершение акта,— инструкции были получены от Азефа самые подробные: Плеве живет в здании департамента полиции, Фонтанка, 16. Надлежит, раньше всего, установить тщательное наблюдение, чтобы выяснить, в какие именно дни и часы Плеве ездит с докладами к царю.

Личность министра охраняется старательно, и наблюдения свои членам боевой организации приходится вести в качестве „газетчиков“, „извозчиков“, „торговцев в разнос“.

Савинков является распорядителем всей группы членов боевой организации, командированных в Петербург на убийство Плеве. Ему, Савинкову, докладывают товарищи, несущие обязанности выслеживающих, о всех достигнутых ими результатах.

— Стою я у Цепного моста,— рассказывает ему во время конспиративного свидания в трактире один из товарищей, несущий роль папиросника: — Стою, жду выезда Плеве. Вижу, — городовой на меня глаза таращит. Я шапку снял, поклонился низко. — Ваше, говорю, благородие, дозвольте спросить, кто в этих хоромах живет? Уж не сам ли, говорю, царь? Очень уж много начальства при дверях! Посмотрел городовой на меня сверху, усмехнулся. — Дурак, говорит, деревня! Что ты

можешь, говорит, понимать? Это министр тут живет. — Министр? Это значит, который генерал главный? Тысяч, чай, сотню получает? — Опять улыбнулся городовой. — Дурак! Эка, сказал — сто тысяч. Подымай выше, миллион! Понял? — Так точно, говорю, понял. А тут гляжу, как раз зашевелились шпики, — подают карету к подъезду, Плеве, значит, поедет. Городовой говорит: — Ну, ну, проваливай, сукин сын. Нечего здесь болтаться. Я за мост зашел, будто бы лоток поправляю, смотрю. Кони у Плеве вороные, кучер с медалями на груди. На козлах ливрейный лакей и сзади — охрана, двое сыщиков...

Б. В. Савинков играет роль богатого англичанина. Он поселяется на улице Жуковского, в д. 31 кв. 1. С ним живет революционерка, Дора Бриллььянт. Эта „молчаливая, скромная и застенчивая“ девушка, заведующая запасами динамита, играет роль бывшей певицы из „Буффа“, содержанки этого богатого англичанина. При них, в качестве „лакея“, живет молодой и жизнерадостный, сильный и румяный Сазонов, на долю которого выпадет бросить бомбу, взорвавшую Плеве.

Савинков, руководитель всего дела, остается в стороне. Он — барин.

На вопрос о занятиях, этот барин отвечает, что он представитель большой велосипедной фирмы.

Подозрений ни у кого не возникает ни малейших. В отсутствие „барина“ квартирная хозяйка приходит в гости к его „содержанке“. Она участливо расспрашивает Дору Бриллььянт и о том, сколько денег положил в банк на ее имя ее покровитель, и о том, почему она не носит драгоценностей? Смущенная революционерка отвечает, что она сошлась со своим сожителем не из-за

денег, а по любви. Хозяйка сочувствует, вздыхает и обещает найти ей другое, более выгодное место.

Сазонов, в качестве лакея, успел завязать дружеские связи со швейцаром и дворником. Но самые сложные роли выполняет Каляев.

— Поэт был ценный работник, — влюбленно вспоминает о нем Сазонов: — Он органически не мог быть ремесленником, всегда оставался художником, всегда творил. Дело, которое для другого было только скучной обязанностью, в глазах Поэта приобретало самостоятельный интерес. У него была своя система, сложная, стройная, настоящее художественное произведение, и при этом, как исполнитель, — он отличался самой строгой аккуратностью, как работник — необычайной трудоспособностью.

Каляев неузнаваем в каждой из принятых им ролей.
—Едва верю глазам. Он ли? — рассказывает Сазонов:
—Элегантный барин. Какое-то прирожденное внутреннее изящество, и вдруг—этот папиросник? Засаленный пиджак в заплатах с клочками ваты, рыжие избитые сапоги, картуз набекрень... Исхудал, лицо осунулось, дико поросло щетиной. Глаза ввалились и стали еще глубже. Неподражаем! Сам Плеве со всем своим полицейским нюхом не распознал бы артиста.

Вот Каляев в роли папиросника у самого подъезда В. К. Плеве.

— Эй, лихач, „Троечку“, „Красотку“? Покупай, земляк. У меня душистые. Ты взгляни на этот портрет. Знаешь кто, сам генерал Стессель, защитник Порт-Артура. Да ты смотри, генерал-то на тебя похож. Вот хоть извозчика спроси. Похож ведь на него генерал, Ванька? Ты на усы-то посмотри, совсем такие же лихие.

— Бывало, скажешь:—Зачем ты гонишься за деталями, за художественной отделкой роли? Мог бы быть снисходительней к себе. Зачем уходишь так рано утром? Зачем целыми днями таскаешься по улицам с ящиком на шее? Когда нет дела, можно бы в трактире, в чайной отдохнуть. Это ведь все равно.

— Ну, нет, не все равно, какой же я был бы папиросник. Только выдержанность игры и спасает меня!

Для улучшения дела слежки, Каляев выступает еще и в роли извозчика. Он в этой роли застенчив и робок, очень набожен и скуп. „Он постоянно жаловался на убытки и прикидывался дурачком там, где не мог дать точных и понятных ответов. На извозчичьем дворе к нему относились с оттенком пренебрежения, и начали его уважать много позже, только убедившись в его исключительном трудолюбии. Он сам ходил за лошадью, сам мыл сани выезжал первый и возвращался на двор последним“.

— Хозяин считает меня скрягой, — с гордостью говорит Поэт.—Расплачиваюсь за угол гривенниками. Просит хозяин, просит, не может вытянуть. Вчера он напился пьяным. Выпить еще хочется, а не на что. Просит полтинник. Целый вечер пилил, а я только утром дал четвертак. И если бы ты видел, как лениво я развязываю платок, где спрятаны деньги, с какой неохотой, с жалостью отсчитываю по пятакам. Прямо жила.

Во время одной из конспиративных встреч „извозчика“ Каляева с „англичанином“ Савинковым, Каляев рассказывает такую, напр., характерную деталь о своей жизни извозчика.

— У меня ведь паспорт на имя подольского крестьянина, хохла Осипа Коваля. И вот, бывает же такое несчастье. Вечером спрашивает дворник: — Ты какой

говорит, губернии? Я, говорю, дальней, Подольской. —А какого уезда?—Ушицкого. Обрадовался дворник.— Вот так раз! Я ведь тоже ушицкий. Стал он меня расспрашивать. — Какой волости, какого села? А как ярмарка, а что с соседними деревнями? Ну, меня не поймаешь! Я, раньше, чем паспорт писать, зашел в Румянцевскую библиотеку, прочитал про Ушицкий уезд. Смеюсь. — Как не знать, говорю.—А ты в городе-то Ушице бывал, собор, говорю, видел? Еще оказалось, что я „родину" лучше дворника знаю.

Случаи такого рода вполне обычны и неизбежны в той обстановке, в какой живут члены боевой организации. Находчивость нужна необычайная:

Вот, переодетый извозчиком, Абрам Гоц. Он „похож на разбитного ярославского мужика", но зорок опытный взгляд постового городового. Подойдя к „извозчику" в те часы, когда он выслеживает каждый шаг Дурново, — городовой внимательно осматривает его лошадь и пролетку и неожиданно заявляет:

— А ведь ты, сукин сын, жид!

Гоц оказался находчив.—Ишь ты, чего придумал! Сорвав картуз с головы, Гоц закрестился:

— Крест на тебе есть? — говорит он городовому: — Это я-то жид?! Господи! Служил я в стрелковой бригаде, вот в Петербург приехал, заработать думал, а ты лаешься: жид!

— В стрелковой, говоришь?

— Как же! За отличную стрельбу знак имею. В седьмой стрелковой.

— В седьмой, значит? Ишь ты! А я, брат, в восьмой.

Случаев такого рода немало у всех, выступающих в терроре. Но особую яркость и оригинальность придает

поэту-революционеру Каляеву целостное соединение в нем нежной артистической организации с бурным чувством ненависти.

Каляев так же глубоко любит революцию, как пламенно любит искусство.

О „терроре будущего“ и его решающем влиянии на революцию — мечтает Каляев:

— Вот смотри — Македония, — говорит он Савинкову: — Там террор массовый. Там каждый революционер террорист. А у нас? Пять, шесть человек и обчелся.

Каляев и сам не сознает, какой суровый приговор выносит он этими словами так высоко оцениваемому им террору и всей, выдвигающей его на первый план, партии с.-р.

„Разве с.-р. может работать мирно?“ — дословно заявляет Каляев: „Ведь с.-р. без бомбы—не с.-р.“.

И Каляев мечтает: „О, я знаю, по всей России разгорится террор. Будет и у нас своя Македония. Крестьянин возьмется за бомбы... Я хотел бы дожить, чтобы видеть“.

Если бы Каляев дожил, — он увидел бы, что вовсе не путем индивидуального террора добилась завоеваний своих революция российская. Он увидал бы „дело Азефа“, и увидел бы „дело Савинкова“, и какими горькими показались бы этому поэту от революции его значительные слова: „С.-р. без бомбы это не с.-р.“.

* * *

Как странно сложилась жизнь этого человека. Сын околодочного надзирателя, И. П. Каляев с детства живет самостоятельной трудовой жизнью. — Мне не в привычку глодать черную корку. Я пролетарий. Я умею жить, —

говорит он, рассказывая про те мытарства в дни университетской жизни, когда он беготню по урокам, в целях увеличения заработка, соединял с каторжной работой в газетах.

Горькие воспоминания остались у него от этой работы:

— Либеральная пресса. Общество. Трусы, рабы! Слова не могут сказать, чтобы вслед затем не ужаснуться собственной дерзости. Шаг вперед, и два шага назад. И так безжалостны к чужой мысли. Для меня было сущей мукой писать для газет... Всегда вычеркнут самое яркое, чем больше всего дорожишь.

Здесь, в боевой организации, оставаясь пока в ролях извозчика, уличного торговца и пр., Каляев чувствует себя несравнимо счастливее, чем в годы его газетной работы.

Каляев увлекается каждой из принятых им на себя ролей. — Он был всецело захвачен игрой, — свидетельствуют товарищи: — Даже дворники удивлялись его искусству ругаться. Было страшно и больно, — говорит Сазонов, — слышать безобразные слова в его устах. Чистый, одержимый страстью к прекрасному, он принуждал себя произносить самые грязные слова.

Даже на ближайших товарищей этот вооруженный динамитом мечтатель производит впечатление человека со странностями.

— Мы — люди будущего, люди новой мысли, новой нравственности. Прежде всего революция нашего духа, а отсюда уже — революция в окружающем мире.

— Какой он странный, этот Поэт, — вспоминает Савинков слова Сазонова о Каляеве. — Кажется, он слишком поэт, чтобы быть революционером.

Савинков не скрыл от Каляева этих впечатлений, вынесенных Сазоновым, и вот, при встрече с Сазоновым, Каляев, глядя ему в глаза, говорит:

— Отдайте мне три рубля, которые вы мне задолжали.

— Я посмотрел на него, ничего не понимая,—вспоминает Сазонов: — Что это, шутка? Тогда к чему такой серьезный тон?

— Не понимаете?—еще серьезнее продолжает Поэт:— Я прошу отдать мне три рубля, которые я по вашей милости истратил на доктора и совершенно напрасно, как оказалось. Вы нашли меня ненормальным, и мне пришлось обратиться к доктору, чтобы проверить ваши наблюдения.

— Для меня, — продолжает Сазонов,— было бы лучше провалиться сквозь землю, чем стоять сейчас перед ним и смотреть в его серьезные и печальные глаза. Поэт не дал мне оправдываться, объяснять.

— Погодите, вы должны понять, какой важный вопрос вы затронули. Я вполне понимаю мотивы, по которым вы не сохранили про себя вашего наблюдения, а поделились им с товарищами. Это честно. Мы должны быть без снисхождения строги к самим себе и к товарищам по организации.

Тема эта не случайна в устах Поэта. Он считает ее важной и основной:

— Пусть никто не посмеет сказать про нашу организацию, что в нее идут люди, которым все равно нет места в жизни. Нет! Только тот имеет право на свою и чужую жизнь, кто знает всю ценность жизни, знает, что она дает, когда идет на смерть, и что отнимает, когда обрекает на смерть другого. Жертва должна быть чистой, непорочной, действительно жертвой, а не таким даром,

который самому обладателю опостылел и не нужен. Прежде чем стучаться в дверь боевой организации,—пусть каждый из нас строго испытает себя. Достоин ли он, здоров ли, чист ли? Вы понимаете, что я не мог пройти без внимания мимо вашего отзыва обо мне.

В этой повышенной требовательности к себе Каляев не одинок. Таково общее отношение к взятому на себя делу у подлинных борцов.

— Я постигал, — говорит Егор Сазонов, — то, о чем говорит Поэт. Сколько таится прекрасного в нашей борьбе за идею, и как родственно близка связь добра с красотой!

— Вот вы пойдете и, наверное, не вернетесь, — говорит Савинков Сазонову перед убийством Плеве: — Скажите, как вы думаете, что мы будем чувствовать после убийства?

— Гордость и радость, — отвечает не задумываясь Сазонов.

— Только?

— Конечно, только.

„И тот же Сазонов впоследствии — рассказывает Б. В. Савинков, — писал мне с каторги: „Сознание греха никогда не покидало меня. К гордости и радости примешалось и другое, нам тогда неизвестное чувство“.

Такую же „гордость и радость“ испытывает и другой сотоварищ Каляева, Покотилов.

— Вот завтра, может быть, меня не будет, — говорит Савинкову этот террорист, „бледный, с лихорадочно расширенными глазами“, Покотилов: — Я счастлив этим, я горд. Завтра Плеве будет убит, — повторяет он.

— Знаете, — жалуется незадолго до того этот Покотилов, „типичный русский барин, с длинной, кудрявой, золотистой бородой“.—Я ведь хотел убить еще Боголе-

пова. Карпович предупредил меня. Потом Сипягина, — Балмашов. Я сказал, что больше ждать не могу, что первое покушение мне. Было решено: Оболенского убью я. Я готовился к этому. Вдруг узнаю, что не я, а Качура. Качура — рабочий, ему и отдали предпочтение. Он стрелял, а не я. Вот теперь Плеве. Я не уступлю никому! Первая бомба мне. Я ждал слишком долго. Я имею на это право. Плеве будет убит! Только трудно ждать. Сколько уж времени я храню динамит. Невозможно так жить в ожидании, я не могу.

Но по приказанию Азефа измученный ожиданием Покотилов должен выехать в прибалтийский курорт Зегевольд. Именно там следует хранить динамит во имя конспирации.

Во имя той же конспирации свои встречи с членами боевой организации, Азеф назначает не на частных квартирах, а в трактирах, банях, театре. Свидание Азефа с Савинковым, напр., происходит в маскараде.

Но вот, наконец, диспозиция составлена. Свидание заговорщиков происходит на кладбище Александро-Невской лавры. Покотилов в назначенный день с двумя бомбами в руках должен встретить Плеве на Фонтанке. С запасными бомбами должны дежурить Сазонов и Каляев.

Но осуществление планов оказывается невозможно. Приготовляя снаряды в своем номере в „Северной“ гостинице, Покотилов погиб от взрыва. Запасы динамита и гремучей ртути погибли. Полиция наведена на след. Дело, очевидно, рухнуло окончательно и бесповоротно.

Но дело строится с новыми силами, с новой энергией.

Если нет людей, — их нужно найти. Если нет динамита, — его нужно сделать. Бросать дело нельзя никогда. Плеве будет убит.

— Все по местам. Все за работу.

Заступивший Покотилова Швейцер готовит новые запасы динамита. На этой работе и он чуть было не погиб, и спасся „только благодаря хладнокровию“.—Размешивая желатин, приготовленный из русских, не химически-чистых материалов, — он заметил в нем признаки разложения, т. е. неизбежного и моментального взрыва. Он схватил кувшин с водой и стал заливать взрывчатую массу. Желатинные брызги попали ему на всю правую сторону тела и взорвались на нем. Он получил несколько тяжких ожогов, но дела не бросил. Лишь изготовив нужное количество динамита, счел он возможным слечь в больницу.

На этот раз опасность предупреждена. Но Швейцер, как и Покотилов, обречен. Когда Швейцер снаряжал бомб в своем номере, в гостинице „Бристоль“, на углу Морской и Вознесенской — произошел взрыв.

Официальные документы рассказывают, что отыскать отдельные части тела Швейцера удалось в самых различных местах. Левая нога его найдена на разрушенной стене дома. Другие части тела обнаружены в Исаакиевском сквере. „Мебель из разрушенных помещений силой взрыва также перекинуло через всю ширину проспекта на Исаакиевский собор. У капитальной стены гостиницы „Бристоль“ стояли письменный стол, трюмо, этажерка, но после взрыва от этих вещей не осталось и следа“.

* * *

— Моя ненависть крепнет со дня на день, — говорит И. П. Каляев за несколько дней до взрыва:—Дворцы... Странно, когда ходишь среди них все один, да один, — создается иллюзия, как будто мы покинуты в битве

с этими каменными громадами. У меня сжимаются кулаки при виде дворцов. Как они нахально, вызывающе бахвалятся своей каменной непоколебимостью. О, дворцы! Погодите, скоро вы задрожите там со своими обитателями!..

Пусть не забудет этой беседы Каляева и Сазонова ни один участник тех рабоче-крестьянских экскурсий, какие так спокойно и уверенно посещают музеи, размещенные ныне в этих дворцах. Как тяжела была жизнь в те далекие дни!

— Душе становится тесно в этой атмосфере, — говорил Каляев.—Тоскуешь по жизни! Светлая, умная жизнь, — она затаилась и зреет в темноте, чтоб вспыхнуть ярким пожаром, когда придет ее черед.

— Я часто думаю о последнем моменте, — говорит далее Каляев:—Мне бы хотелось погибнуть на месте. Отдать все, всю кровь до капли. Ярко вспыхнуть и сгореть без остатка. Смерть упоительна.

— Я взглянул на говорившего, — говорит, передавая эти слова, Сазонов: — Тон спокойно торжественный. Ни тени аффектации. Только глаза горят ярче обыкновенного.

— Да, это завидное счастье, — продолжает Каляев: — Но есть счастье еще высшее, — умереть на эшафоте. Смерть в момент акта как будто оставляет что-то не законченное. Между делом и эшафотом еще целая вечность. Может быть, здесь—самое великое для человека. Только тут узнаешь, почувствуешь всю силу, всю красоту идеи, весь развернешься, расцветешь и умрешь в полном цвете, как колос, созревший, полновесный....

— Унести невысказанной свою ненависть? О, нет! Этого бы я не хотел. Я хочу излить на них все, что накипело на сердце. Хочу заклеймить судей, поставить к позорному столбу самодержавную Россию, эту всесвет-

ную сводницу. А затем, — умереть спокойно и гордо, со сладким сознанием, что все исполнено, вся чаша выпита. Идя на акт и потом — на эшафот, умрешь как будто дважды, отдашь две жизни.

Сколько бы жертв ни потребовало дело, — состояться оно должно во что бы то ни стало. Пламенный, увлекающийся Каляев считает минуты, отделяющие его от завершения взятой на себя задачи.

— Я устал! — говорит Каляев Сазонову за несколько дней до убийства Плеве: — Я устал! Мы тратим столько энергии и искусства, и на что? Как подумаешь, становится страшно. Ужасная охота на человека. Проклятые, они превращают нас в сыщиков! Я рад, что скоро конец. В нем вся награда за все, за все.

В день убийства, 15-го июля 1904-го года, Савинков встречает на Николаевском вокзале Сазонова, и на Варшавском — Каляева. Сазонов одет железнодорожным служащим, Каляев — швейцаром. Бомбы розданы четырем метальщикам.

Самую большую, 12-ти-фунтовую, бомбу получил Сазонов. Она цилиндрической формы, обернута в газетную бумагу и перевязана шнурком.

И вот, настал час. Каляев — в сквере Покровской церкви. Он крестится на образа. — Я подошел к нему, — рассказывает Савинков: — Янек! — Он обернулся, крестясь. — Пора? — Я посмотрел на часы. — Конечно пора, иди!

Янек идет. Туда же идет и Сазонов и остальные два метальщика.

И вот „в однообразный шум улицы ворвался странный, тяжелый и грузный звук. Будто кто-то ударил чугунным молотом по чугунной плите. В ту же сукунду задребезжали жалобно разбитые в окнах стекла“...

Плеве убит. От всесильного министра, принесшего столько зла России, осталось только несколько комков слизи на мостовой.

На этот раз Каляев остался в резерве. Второй бомбы не понадобилось. Сазонов довел дело до конца.

Тяжко раненый во время взрыва, Сазонов перенесен в Александровскую больницу для чернорабочих. Здесь, в присутствии министра юстиции Муравьева, ему была сделана операция. Каляеву остается ждать своей очереди. Следующее дело его.


Е. С. Сазонов.

Пока Каляев готовится к следующему акту, Сазонов из тюрьмы присылает письмо о себе и своем самочувствии: „Когда меня арестовали, лицо представляло сплошной кровоподтек. Глаза вышли из орбит. Я был ранен в правый бок почти смертельно. На левой ноге раздроблена ступня, оторвано два пальца“.

Испытанные Сазоновым муки не изменили его самочувствия. „Прощайте, дорогие товарищи. Привет восходящему солнцу свободы“,—пишет он в письме из тюрьмы: „Я испытал нравственное удовлетворение, с которым ничто в мире несравнимо. Едва я пришел в себя после операции, я облегченно вздохнул.—Наконец, кончено. Я готов был петь и кричать от восторга!

„Привет вам, дорогие товарищи. Будем верить, что скоро прекратится печальная необходимость борьбы

путем террора, и мы завоюем возможность работать на пользу наших социалистических идеалов при условиях, более соответствующих силам человеческим".

Эта новая эпоха уже не за горами. Но пока условия остаются прежние. На очереди — убийство великого князя Сергея Александровича. По-старому идет слежка за жертвой, по-старому Дора Бриллиант хранит динамит и ждет, пока понадобится ее работа, по-старому весь полон нервным подъемом Каляев...

Покушение уже обдумано во всех деталях. Сведения о выездах Сергея Александровича добыты достаточно подробные. Каляев заканчивает свою деятельность извозчика-наблюдателя.

Пора продавать лошадь. Время замести следы извозчичьей жизни, переменить паспорт и взяться за новую роль, роль метальщика бомбы.

Савинкову менять ничего не приходится. Он попрежнему остается в роли богатого барина, англичанина, в прежнем своем положении „распорядителя крови", посылающего на смерть своих подчиненных.

Бросают бомбы Сазоновы и Каляевы, Савинковы и Азефы только распоряжаются.

Последнее свидание извозчика Каляева с Савинковым происходит в грязном трактире в Замоскворечьи. Каляев похудел, сильно оброс бородой. Его лучистые глаза ввалились. Он в синей поддевке с красным гарусным платком на шее.

— Я очень устал... Устал нервами, — говорит Каляев: — Ты знаешь, я думаю, я не могу больше. Но какое счастье, если мы победим! Я не могу. Я буду спокоен только тогда, когда Сергей будет убит. Подумай, это уже революция! Мне жаль, что я не увижу ее. Если бы с нами

был Егор (Сазонов)! Как ты думаешь, узнает Егор, узнает Гершуни? Узнают ли в Шлиссельбурге?

В случае неудачи, Каляев решил „поступить по-японски“. — Японцы на войне не сдавались. Они делали себе харакири, — говорит он.

Покушение назначено на второе февраля 1905 г. В этот день в большом театре торжественный спектакль, на который поедет вел. князь. Дора Бриллья́нт в гостинице „Славянский Базар“. Она уже приготовила необходимые бомбы. По диспозиции Савинкова, Каляев с бомбой в руках должен ждать проезда в театр вел. князя на Воскресенской площади, у здания городской думы.

У Каляева в эти последние дни настроение успокоенное, умиротворенное:

— Вокруг меня, со мной и во мне ласковое, сияющее солнце, — пишет он в эти дни в интимном письме к близкой женщине: — Точно я оттаял от холодного уныния, тоски по несовершенном и горечи от совершающегося.

— Еще несколько дней тому назад, казалось мне, я изнывал. Вот-вот свалюсь с ног. А сегодня я здоров и бодр. Сегодня мне хочется только тихо сверкающего неба, немножко тепла и безотчетной радости изголодавшейся души. Радуюсь, сам не знаю чему, беспредметно и легко, хожу по улицам, смотрю на солнце и людей. Я хочу быть сегодня беззаботно сияющим, бестревожно радостным, веселым, как солнце, которое манит меня на улицу. Здравствуйте все, дорогие друзья, строгие и приветливые, бранящие нас и болеющие с нами...

„Беспредметно и легко радующийся“ всему на свете Каляев, и второй, запасной метальщик, Куликовский, — по распоряжению Савинкова, уже на посту с бомбами в руках. Как по заданию беллетриста, в этот вечер был

сильный мороз, разгулялась вьюга. Вооруженный бомбой Каляев на пустынной, темной площади напряженно ждет появления кареты великого князя.

В начале 9-го часа, от Никольских ворот показалась карета в. кн. Сергея. Каляев сразу же узнал ее по белым и ярким огням фонарей, узнал и кучера, чью наружность он давно тщательно изучил во время долгой слежки с извозчичьего облучка. Каляев бросается наперерез карете. Он успел уже поднять руку, чтобы бросить снаряд, но... Что это? В ярко освещенной карете, рядом с великим князем, его жена и двое детей. Неужели убить всех их? Каляев бессильно опускает руку. Карета благополучно следует к подъезду Большого театра...

Растерянный и взволнованный, Каляев отправляется с докладом к Савинкову. — Я думаю, что я поступил правильно, — говорит он: — Разве можно убить детей? Если Савинков находит, что Каляев поступил неправильно, он исправит свою ошибку. Он дождется обратного пути кареты из театра, бросит бомбу и убьет всю семью.

Но начальство одобряет поступок подчиненного.—Каляев поступил правильно, — решает и сам Савинков, и все остальные участники покушения. Как ни тягостна безрезультатность напряжения сил, иначе поступить было нельзя.

Запасной метальщик, Куликовский, чувствует, что сегодняшнее напряжение лишило его последних сил.— Возьмите у меня бомбу. Я сейчас ее уроню,—говорит он товарищам, валясь с ног от внезапно нахлынувшей душевной усталости.

Эта усталость оказывается надолго. Назавтра Куликовский заявляет, что он переоценил свои силы. Он видит теперь, что „работать в терроре он, вообще, не может“.

Как быть дальше? По выработанному заговорщиками плану, к тому моменту, когда карета Сергея Александровича будет прослежена, ее должны замкнуть с обеих сторон два метальщика. После отказа Куликовского, на посту остается один Каляев. Где достать второго?

Положение создается серьезное, но взять на себя роль метальщика—Савинкову и в голову не приходит. Рисковать такой драгоценностью, как его, савинковская, жизнь, об этом и думать не приходится.

Разное бывает отношение к долгу. Даже и отказавшись от террора, признав, что эта деятельность ему не под силу, тот же Куликовский, через несколько месяцев арестованный в Москве, бежал, оказывается, из-под ареста, и 28 июня 1905 года, разыскиваемый по всей России, явился на прием к московскому градоначальнику графу Шувалову, застрелил его, и после смертного приговора попал на бессрочную каторгу. Так поступает отказавшийся от террора человек. Но профессиональный деятель террора, специалист по этой части, Савинков, вместо того, чтобы в острую минуту заменить недостающего товарища, решает отложить все дело.

— Ни в каком случае! — возмущается, узнав об этом плане, Каляев:—Ты говоришь, мало одного метальщика? Я все беру на себя! Неудачи у меня быть не может. Я убью великого князя, будь спокоен!

— Я принял решение,—сообщает в своих „Воспоминаниях“ Б. В. Савинков:—Каляев отправится на дело один.

В два часа дня, за несколько минут до того, как вел. кн. Сергею Александровичу подана карета, в которой он должен ехать к себе в канцелярию, Савинков посылает одетого простолюдином Каляева на дело.

— Прощай, Янек.

— Прощай!

„Он поцеловал меня и свернул направо“,—рассказывают воспоминания Савинкова.

Рядовой—на посту, а генерал от террора, Б. В. Савинков отправляется ждать известий в кафе. В кондитерской Сиу на Кузнецком мосту его ждет Дора Бриллиант.

Рядовой выполнил боевой приказ со всей точностью. Навстречу Савинкову и Доре Бриллиант, по Тверской уже несется мальчишка без шапки с криком:

— Великого князя убило! Голову оторвало!

„В эту минуту“,—рассказывает Савинков:—„Дора наклонилась ко мне и зарыдала. Я старался ее успокоить, но все ее тело сотрясали глухие рыдания“.

— Это мы его убили. Я его убила, я...

— Кого? — переспросил Савинков, думая, что она говорит о Каляеве.

— Великого князя, — отвечает, громко плача, испытанная в делах террора интеллигентка.

* * *

Как произошло самое убийство Каляевым Сергея Александровича?

— Я бросил бомбу с разбега, в упор... Я был захвачен вихрем взрыва, — читаем мы в письме Каляева к товарищу: — После того, как облако рассеялось, я оказался у остатков задних колес. Помню, в меня пахнуло дымом и щепками прямо в лицо, сорвало шапку. Я не упал, а только отвернул лицо. Потом я увидел, шагах в пяти от себя, клочья великокняжеской одежды и обнаженное тело. Шагах в десяти сзади кареты лежала моя шапка. Я подо-

шел, поднял ее и надел. Я огляделся. Вся поддевка моя была истыкана кусками дерева, висели клочья и она вся обгорела. С лица обильно лилась кровь. Я понял, что мне не уйти, хотя было несколько долгих мгновений, когда никого вокруг не было... Сзади послышалось „держи, держи“. На меня чуть не наехали сыщичьи сани. Вокруг меня засуетились городовой, околоточный и сыщик. Чьи-то руки овладели мной. Я не сопротивлялся“.

По описаниям, появившимся в печати, на месте убийства „от великого князя осталась лишь бесформенная куча, вышиной вершков в 10, состоявшая из мелких частей кареты, одежды и изуродованного тела. Головы не оказалось. Можно было разобрать только руку и часть ноги“.

Совершивший взятое на себя тяжелое дело „рядовой“ Каляев, как известно, повешен в Шлиссельбурге. Но уцелевший, оставшийся в момент взрыва в кондитерской Сиу, „генерал“ Б. В. Савинков в своих „Воспоминаниях“ считает удобным выступить в качестве судьи над Каляевым: — Сумел ли Иван Каляев до конца оказаться достойным высокой чести носить звание члена боевой организации, работавшей под его, Савинкова, руководством? Не запятнал ли Иван Каляев какой-либо неосторожностью своего высокого руководителя?

Жена убитого вел. кн. Сергея Александровича, Елизавета Федоровна, пожелала посетить убийцу своего мужа. Ее свидание с Каляевым произошло в Пугачевской башне Бутырской тюрьмы.

„Мы смотрели друг на друга“,—писал об этом свидании в частном письме к друзьям Каляев, — „с некоторым мистическим чувством“.

„Мне очень больно, что я причинил вам горе“,—говорит Каляев:—„Но я исполнил свой долг. Я его исполню до конца, и вынесу все, что мне предстоит“.

„Я прошу вас, возьмите от меня на память иконку“,—говорит великая княгиня:—„Я буду молиться за вас“.

„Я взял иконку“,—собщает Каляев.—„Это было для меня символом признания с ее стороны моей победы, символом ее благодарности судьбе за сохранение ее жизни и покаяния ее совести за преступления убитого“.

Великая княгиня встала, чтобы уйти. Я также встал.

— Прощайте,—сказал я.—Моя совесть чиста. Мне больно, что я причинил вам горе, но я действовал сознательно, и если бы у меня была тысяча жизней, я отдал бы всю тысячу, а не только одну“.

В те времена, царское правительство всеми силами старалось по мере возможности „не злить“ революционеров. Были все основания думать, что смертная казнь Каляеву будет заменена, как Сазонову, каторгой. Но Каляев не хочет сохранить жизнь. „Помилование я считал бы позором“,—пишет он в письме к товарищам из тюрьмы:—„С тех пор, как я попал за решетку, у меня не было ни одной минуты желания как-нибудь сохранить себе жизнь. Революция дала мне счастье, которое выше жизни. Вы понимаете, что моя смерть—это только очень слабая моя благодарность ей. Я считаю свою смерть последним протестом против мира крови и слез“...

Борис Савинков тщательно группирует в своих „Воспоминаниях“ все документы, какие ему нужны для произнесения своего авторитетного приговора над его подчиненным.

Свидание великой княгини с Каляевым впоследствии было передано в печати в неверном и тенденциозном

освещении, и эта передача доставила Каляеву много тяжелых минут. В своем письме к великой княгине, Каляев писал: „Я не звал вас, вы сами пришли ко мне, следовательно вся ответственность за последствия свидания падает на вас. Все то, что произошло между нами обоими, не подлежало опубликованию. Мы с вами сошлись на нейтральной почве, как человек с человеком. Я доверился вашему благородству. Я вполне сознаю свою ошибку. Мне следовало отнестись к вам безучастно и невступать в разговор. Но я поступил с вами мягче, на время свидания затаив в себе ту ненависть, с какой я естественно отношусь к вам. Вы оказались недостойной моего великодушия. Это вы — источник всех сообщений обо мне, ибо кто же осмелился бы передавать содержание нашего с вами разговора, не спросив у вас на то позволения. В газетной передаче оно исковеркано. Я не объявлял себя верующим, я не выражал какого-либо раскаяния. Я решительно протестую против приложения политической мерки к доброму чувству моего снисхождения к вашему горю. Мои убеждения и мое отношение к царствующему дому остаются неизменными, и я ничего общего не имею с религиозными суевериями рабов и их лицемерных владык“.

Это, отосланное из тюрьмы, резкое письмо великой княгине предрешало участь Каляева. После этого заявления о „неизменности его отношения к царствующему дому“ становилось невозможно смягчение смертного приговора.

Каляев делает этот шаг вполне сознательно. От смягчения приговора он отказывается.

„Умереть за свои убеждения“,— пишет он в письме из тюрьмы к товарищам,—„это значит звать на борьбу.

Каких бы жертв ни стоила ликвидация самодержавия, я твердо уверен, что уже наше поколение покончит с ним навсегда. Это будет великим торжеством социализма, когда перед русским народом откроется простор новой жизни.

„Всем сердцем моим я с вами, мои милые, дорогие друзья и незабвенные товарищи! Если когда-нибудь на вершине общенародного ликования вы вспомните меня, — то пусть будет для вас весь мой труд революционера выражением моей восторженной любви к народу и горделивого уважения к вам“.

Такого же гордого и достойного тона держится Каляев и на суде.

— Я не подсудимый перед вами, я ваш пленник!— начинает свою, обращенную к царским судьям, речь Каляев:—Мы—две воюющие стороны. Вы—представители императорского правительства, наемные слуги капитала и насилия. Я — один из народных мстителей, социалист и революционер. Нас разделяют горы трупов, сотни тысяч разбитых человеческих существований, целое море крови и слез. Вы объявили войну народу, мы приняли вызов. Взяв меня в плен, вы теперь можете подвергнуть меня пытке медленного угасания, можете меня убить, но над моей личностью вам не дано суда!

Каляев четко знает, что он обречен, что его в ближайшие же дни повесят. Его заявления на суде звучат даже не как завещание готовящегося к смерти, а как слова, несущиеся из уст уже находящегося по ту сторону жизни человека.

— Где ваша совесть?—гневно бросает Каляев судьям в раззолоченных мундирах.—Где ваша совесть? Где кончается ваша продажная исполнительность, и где начинается бессеребренность вашего убеждения, хотя бы

и враждебного моему? Вы не только судите мой поступок, вы посягаете на его нравственную ценность! Дело 4-го февраля вы не называете прямо убийством, вы именуете его преступлением, злодеянием. Вы дерзаете не только судить, но и осуждать. Что дает вам право на это? Не правда ли, благочестивые сановники, вы никого не убили. Вы опираетесь не на штыки, а на аргументы нравственности...

— Оглянитесь! — повышает голос Каляев в другой части своей речи:—Всюду кровь и стоны. Война внешняя и война внутренняя. Пришли в яростное столкновение два мира, непримиримо враждебные друг другу: бьющая ключом жизнь — и застой, народ — и самодержавие. Повсюду открытые возмущения народа, готовые перейти в революцию, во имя социализма и свободы. На этом-то фоне происходят ныне террористические акты.

— Это суд истории над вами! Революционер наших дней лишь суммирует, приводит к одному знаменателю и облекает в плоть то, что есть готового в настроениях жизни. Я убил великого князя, как одного из руководителей реакционной партии, господствующей в России. Мое предприятие окончилось успешно. И таким же успехом увенчается деятельность всей партии, ставящей себе великие исторические задачи. Я твердо верю в это! Я вижу грядущую свободу трудовой народной России. И я рад, я горд возможностью умереть за нее с сознанием выполненного долга.

О, они умели умирать эти люди, каких посылал на смерть Савинков, при помощи и с благословения Азефа.

Когда суд выносит Каляеву смертный приговор,— смертная казнь через повешение, — Каляев в ответ на это заявляет судьям:

— Я счастлив вашим приговором! Надеюсь, что вы решитесь его исполнить надо мной так же открыто и всенародно, как я исполнил приговор партии над великим князем. Учитесь смотреть прямо в лицо надвигающейся революции!..

В ночь на 10-е мая в Шлиссельбургской крепости палач Филипьев завязывает петлю на шее Каляева. Священник, отец Флоринский, настойчиво предлагает осужденному „утешение религии“. Каляев отказывается от исповеди, отказывается целовать крест. — Пусть палач делает свое дело.

Борис Савинков в своих мемуарах пересматривает документы о гибели посланного им на смерть Каляева. Винить погибшего теперь он, надо ему отдать справедливость, не считает удобным. В свое время дело обстояло иначе.

„Я пережил“ — пишет Каляев в предсмертном письме своем:—„острые муки по поводу нелепых слухов о свидании с великой княгиней, которыми меня растравляли в тюрьме. Я думал, что я опозорен“.

В те времена Каляеву приходилось просить прощения в предсмертных письмах:

„Простите“, — пишет Каляев, — „если в моем поведении вне партийных интересов были какие-либо неровности“.

„Думаю, что я ничем не повредил интересам партии своими заявлениями на суде“,—говорит здесь Каляев.

Эти слова принесли свои результаты. Тщательно всмотревшись в обстоятельства дела, его превосходительство, генерал от партии социалистов-революционеров, адъютант, генералиссимуса Азефа, Борис Савинков считает возможным милостиво отнестись к этим просьбам

о прощении, исходящим от рядового от революции, Ивана Каляева.

Борис Савинков прощает Ивана Каляева. И растроганный, потрясенный этой милостью, рядовой в личном письме к генералу пред смертью пишет. „Мой дорогой, прости, если чем-либо я произвел на тебя дурное впечатление. Мне очень тяжело подумать, что ты меня осудишь. Я любил тебя, мой дорогой. Прощай, мой единственный друг. Будь счастлив, будь счастлив“.

Борис Савинков постарается исполнить эту просьбу. О, он не принадлежит к тем наивным людям революции, которые кидаются в огонь и сгорают. Нет, он человек рассчета. Его хватит надолго. Еще многие годы он будет генеральствовать, и руководить мечтателями и энтузиастами, и посылать их на смерть. Еще многие, долгие годы будет удивлять окружающих этот премированный спортсмэн от террора, этот прошедший через огонь, воду, медные трубы и польский штаб авантюрист от революции.

* * *

Как умер Каляев? 9-го мая 1905 года привезли в Шлиссельбург приговоренного к смертной казни Поэта. Полицейский пароход прибыл утром, в то время, как в крепостной церкви шла обедня. Каляева поместили в здании манежа. В его камере неотлучно дежурят два сверхсрочных жандармских унтер-офицера.

Палач привезен в крепость уже накануне. Это бывший офицер, уголовный арестант Александр Филипьев, рослый детина, брюнет с крупными, грубыми чертами лица, казак по происхождению. На его совести семь убийств. Смертный приговор ему был заменен каторгой в тот день, когда

он согласился взять на себя роль палача. Кроме „поштучного“ денежного вознаграждения, этот „мастер“ получает за каждую казнь сокращение срока каторги.

Работает Филипьев усердно. Ко дню повешения Каляева он еще продолжает отбывать срок каторги, и в Шлиссельбург привезен под конвоем. Через три месяца после этого, к августу 1905 года, количество казненных им оказалось достаточно велико, и дальнейшие гастроли по всей России он совершает уже в качестве человека свободного. Отныне он работник вольнонаемный. Работу его ценят.

Вскоре после казни Каляева, Филипьев получил разрешение ходить в офицерском мундире с георгием в петлице. В таком, именно, виде прибыл в Шлиссельбург на казнь Хаима Гершковича, в сентябре, этот человек с серым одутловатым лицом, с мутными, налитыми кровью глазами. В мае он вешал Каляева еще без георгия.

Пока в одной камере палач в ожидании казни коротает свои досуги в курении табаку и питье водки, отпущенной на казенный счет для поддержания куража (искусство палача требует кое-каких издержек),—в другой камере ждет казни Каляев.

Поэт нездоров, его знобит. — Не думайте, что я дрожу от страха, — говорит он, с улыбкой обращаясь к жандармам: — Мне просто холодно. Я бы попросил дать мне еще одно одеяло.

Только к семи часам вечера начинается съезд „гостей“, сословных представителей, приглашенных по уставу для присутствования при совершении казни. От дворянства представителем является какой-то акцизный чиновник Латкин. Городские сословия представительствует городской голова Шлиссельбурга, Прохоров. От лица именитого

купечества выступают Попов и Шашин. Здесь же, среди них и помощник исправника Преображенский. Все сословия Российской империи представлены полностью. Крестьяне и рабочие, как „люди подлого звания“, к участию в торжестве не приглашены.

В 8 часов вечера прибыли из Петербурга товарищ прокурора и секретарь Петербургского окружного суда.

Все в порядке. Прокурор, по неопытности, уже в самом начале вечера заявился в камеру Каляева с извещением, что приговор будет исполнен в ночь на сегодня.

Вместе с властями прибыл и защитник Каляева на суде, присяжный поверенный Жданов, которого нетерпеливо ждет для последней беседы осужденный. Но защитнику свидания с осужденным не разрешили. Вместо этого, к ожидающему казни Каляеву командирован крепостной священник Флоринский. От исполнения обрядов Каляев категорически отказывается.

— Этого не нужно, — отвечает Каляев. — Я к смерти и без этого готов. Вы, батюшка, не обижайтесь. Вы, сами по себе, мне кажется, человек добрый. Давайте-ка, вместо всех этих обрядов, просто поцелуемся с вами, как человек с человеком.

На дворе крепости на особом помосте устанавливают два столба с перекладиной. Гулко разносятся среди мертвой тишины крепости удары топора. С реки несется перебор гармоники и длинные тягучие звуки песни. „Н-ничего мне на све-те ни-и на-а-до“...

Все готово. Давным-давно оповещен о предстоящем и Каляев, но по уставу требуется дождаться рассвета. Ползут часы, медлительные, тягучие.

Во втором часу ночи в комнату, где сидит Каляев, входит смотритель в сопровождении палача, одетого

в особую форму. Он весь в красном. На нем кумачевые рубаха и шаровары. На голове красный колпак. Опоясан он веревкой, за которую лихо заткнута нагайка.

Палач завязывает Каляеву руки назад. Шествие трогается. Каляев без пальто, во всем черном, в черной фетровой шляпе.

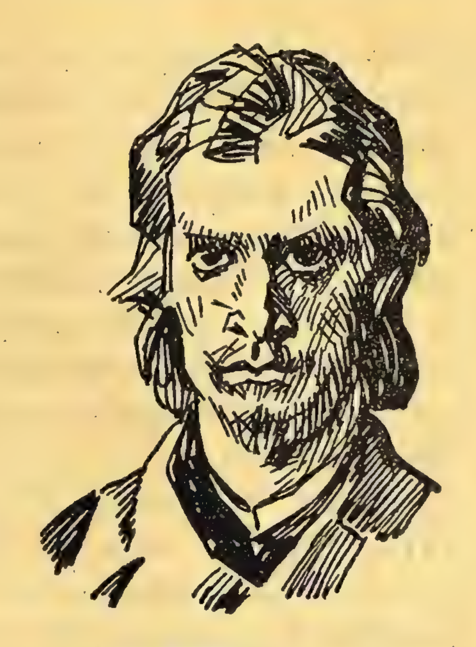


Александр Ильич УЛЬЯНОВ.

Представители сословий и администрации уже ждут близ эшафота. Многое помнят стены крепостного двора. Здесь в свое время были повешены преданные Дегаевым и осужденные по делу Веры Фигнер Рогачев и Штромберг, члены военной организации „Народной Воли". Здесь же повешен Александр Ульянов и остальные четверо, осужденных по делу о покушении на Александра III, Осипанов, Генералов, Шевырев и Андреюшкин. При совершении этой казни пятерых по делу так называемого



В. С. Осипанов.



П. Я. Шевырев.



В. Д. Генералов.



П. И. Андреюшкин.

„второго 1-го марта“ — распорядителем обряда был молодой и бойкий товарищ прокурора И. Г. Щегловитов. Теперь, во дни казни Каляева, он успел добраться до поста министра юстиции. На этом карьера его не кончена. Этот Ванька-Каин царского режима, прославившийся особым „щегловитовским“ правосудием, доживет до революции 1917 года. Глубоким стариком будет он на грузовом автомобиле доставлен толпой в Таврический дворец в первый же день февральской революции, а после Октября— будет расстрелян.

Здесь, в Шлиссельбурге, на месте этих былых виселиц, старый народоволец М. Фроленко во время своего пребывания в заточении посадил яблоню, уцелевшую до наших дней.

Здесь же, у яблони повешен и Степан Балмашов, убивший министра внутренних дел Сипягина. Балмашов отказывался давать какие бы то ни было показания. Священнику, сопровождавшему его на место казни, на его предложение приложиться к кресту, Балмашов отвечал, как и следователям и прокурору, одной и той же формулой: „С лицемерами дела иметь не желаю“.

Теперь, в этот день, 9 мая 1905 года, настала очередь Каляева. Он на помосте эшафота. Конфузливо и смущенно читает приговор секретарь суда. Снова делает попытку приблизиться к Каляеву священник с крестом в руке. — Не надо, я ведь сказал вам, — отстраняет его приговоренный.

Рядом с ярко-красным палачом и черной фигурой священника вырастает еще и белая тень. Это палач уже набросил на осужденного белый саван, покрывающий его с головой. Три фигуры,—черная, красная и белая,—четко видны в свете всходящего солнца.

Уже выброшен из-под ног осужденного табурет и беспомощно повисло тело казненного. Участники, „представители сословий“, суда и жандармерии, безмолвно стоят возле эшафота.

Плохо вешают в России. Как ни велика была практика, но так и не усовершенствовали этого дела.

— При казни Ивана Каляева,—свидетельствует Г. А. Гершуни,—произошла, вследствие неумелости и небрежности, такая ужасная сцена: палач не сумел как следует накинуть петлю, и Каляев так долго бился в судорогах, что присутствовавший при этом начальник корпуса жандармов барон Медем грозил палачу расстрелом, если он не прекратит муки повешенного.

Через 30 минут палач вынимает тело Каляева из петли и кладет его на помост. Приближается врач. Во всеоружии науки обнажает он покойному грудь, выслушивает сердце, щупает пульс. Все эти формальности для удостоверения смерти совершенно излишни, но так требуется по уставу.

Устав выполнен свято. Правосудие свершилось.

* * *

В свое время убийство Сипягина дало повод Ленину резко и определенно высказаться против актов такого рода: „Ни в какой связи с массами этот акт не стоял и, по способу своего совершения, не мог стоять,—указывал Ленин:—Ни на какое определенное выступление или поддержку толпы совершавшие этот акт лица не рассчитывали и не надеялись. Социалисты-революционеры наивно не замечают того, что их склонность к террору связана самой тесной причинной связью с тем фактом, что они с самого начала стали и продолжают стоять в стороне

от рабочего движения, не стремясь даже сделаться партией ведущего свою классовую борьбу революционного класса".

Выступление Балмашова было проделано им просто и отчетливо, в стиле того „доброго старого времени", когда Степняк-Кравчинский, убивши жандарма Мезенцова, так спокойно и уверенно скрылся. Балмашов действовал в одиночку. В приемные часы в государственный совет, помещавшийся в Мариинском дворце, приехал на рысаке блестящий офицер. — Потрудитесь доложить господину министру. Я адъютант великого князя Сергея Александровича. Я привез важный пакет, адресованный в собственные руки министра.

Сипягин — жестокий, сумасшедший старик, который мнил себя чуть ли не Иваном Грозным, призванным спасти Россию от крамолы—говорит о нем Д. Сверчков:—у себя дома он щеголял в древне-русском боярском костюме. Над дверьми своего дома приказал вырезать славянской вязью „Хоромы болярина Димитрия Сипягина" и требовал чуть ли не царских почестей.

Но эта гордость Сипягина, конечно, не помешала его высокопревосходительству со всей угодливостью поспешить навстречу к адъютанту, привезшему пакет от его высочества. Пока Сипягин вскрывал этот пакет, заключавший в себе чистый лист бумаги, блестящий адъютант—это был студент Степан Валерьянович Балмашов—успел всадить в старого палача несколько пуль из своего браунинга.

В своей книге „На заре революции" Д. Сверчков рассказывает, как он увидел Балмашова в предварилке. „Один из товарищей простучал мне:—на тюремном дворе против вашей камеры Балмашов". Я бросился к окну,

и увидал молодого блондина, с открытым и смелым симпатичным лицом. Он сосредоточенно ходил взад



С. В. Балмашов.

и вперед, изредка вскидывая глаза вверх и приветливо улыбаясь. Он держался совершенно спокойно, и в уме никак не укладывалась мысль, что через несколько дней этот милый юноша станет холодным трупом. Я смотрел на него, преклонялся перед ним и чувствовал, что уметь умереть еще труднее, чем уметь жить. Он сидел в первом этаже. Смертников всегда сажали в нижний этаж,

чтобы кто-нибудь из них не бросился сверху и не похитил этим свою жизнь у палача".

Второго мая Балмашова увезли в Шлиссельбург для казни. Повешен он был 3-го мая на рассвете. Он держался геройски и не доставил удовольствия своим палачам проявлением хоть какого-нибудь колебания.

„Каждый поединок героя"—уверяют прокламации с.-р.—„будит во всех нас дух борьбы и отваги". „Но мы—говорит Ленин—знаем из прошлого и видим в настоящем, что только новые формы массового движения, или пробуждение самостоятельной борьбы новых слоев массы действительно будят во всех дух борьбы и отваги. Поединки же, именно постольку, поскольку они остаются поединками Балмашовых, непосредственно вызывают лишь скоропреходящую сенсанцию, а посредственно ведут даже к апатии, к пассивному ожиданию следующего поединка".

„Основная ошибка террористов",—объяснял Ленин,—„состоит в непонимании основного недостатка нашего движения. Благодаря необычайно быстрому росту движения, руководители отстали от массы. Революционные организации оказались недоросшими до революционной активности пролетариата, неспособными итти впереди и руководить массами. В такое время, когда революционерам недостает сил и средств для руководства поднимающейся уже массой, звать к такому террору, как устройство отдельными личностями и неизвестными друг другу кружками покушений против министров—это значит тем самым не только обрывать работу в массах, но и вносить в нее прямую дезорганизацию".

„Социал-демократия всегда будет предостерегать от авантюризма и безжалостно разоблачать иллюзии, неизбежно оканчивающиеся полным разочарованием. Нисколько

не отрицая в принципе насилия и террора, мы требовали работы над подготовкой таких форм насилия, которые бы рассчитывали на непосредственное участие массы и обеспечивали бы это участие" („Искра" 1902 г., № 23).

* * *

Хрустальная, чистая душа Ивана Каляева... Спокойное, убежденное мужество Егора Сазонова... Безграничный фанатизм Покотилова... Сколько их, этих самоотверженных и героических людей, кровью своей заплативших за честь называться русскими революционерами?

Одним только списком погибших, умерших на посту, далеко не исчерпывается синодик террористов. Сколько их погибло на Каре, в Акатуе и Зерентуе, сколько жертв разбросано по тайгам и тундрам Сибири!

Какой яркой, величественной и цельной фигурой встает перед нами, наряду с погибшим Каляевым, хотя бы Г. А. Гершуни, весь лучащийся какой-то особой теплотой и проникновенной любовью к людям. Всмотримся в записки этого „шефа террористов" так же внимательно, как всмотрелись в документы о жизни и смерти Ив. Каляева.

— Написать свою автобиографию? Как это звучит смешно и дико! — говорит Г. А. Гершуни в своей книге „Из недавнего прошлого".—Кому и для чего она нужна? Не все ли равно, где, когда, от кого и почему родился, как рос, как протекало детство и пр. Все это удовлетворяет лишь праздное любопытство праздных людей и не нам, революционерам, этому потворствовать.

Нет, биографии своей он писать не собирается! Задача книги Гершуни иная. Она должна послужить чем-то вроде справочника для будущих поколений революционеров:

— Мы, революционеры, конечно, считаем „испытания в царских застенках“ не несчастьем, а лишь естественным и неизбежным добавлением, завершающим нашу деятельность. Но все же повесть о пережитом, перечувствованном „по ту сторону жизни“ — может быть небесполезной для молодых работников.

Гершуни был арестован в Киеве, в мае 1903-го года. Давно и тщательно разыскивали его жандармы по всей России. Они хорошо знают, какая крупная добыча попалась на этот раз им в руки. Арестованного сразу же заковывают в ножные и ручные кандалы:

— Странное чувство охватывает закованного,—рассказывает Гершуни.—Высокое, сильное... Вся обстановка приподнимает. Чувствуется дыхание смерти. Далеко от земли, близко к небу... В такие минуты самые сильные пытки, вероятно, принимаются с восторгом и переносятся легко. Руки ласково, любовно сжимают железо кандалов, голова склоняется низко-низко и губы невольно прикасаются к цепям.

Ликующие жандармы в срочном порядке препровождают закованного пленника в Петербург. На вокзал пленника перевозят под эскортом казаков. В дороге ему отводят особый вагон. Начальство панически боится побега арестованного. Командированные с ним два жандармских офицера и шесть унтеров получили инструкцию во все время пути не спускать глаз с арестованного. По всем станциям даны телеграммы, чтобы и местные жандармы заботливо встречали и стерегли „вагон номер такой-то“.

Кое-где на местах эти телеграммы о встрече были поняты в том смысле, что в указанном вагоне изволит проследовать важное лицо, и встречи оказываются не-

ожиданно почетные. Когда на одной из станций для арестованного был заказан обед, официант, предполагая, что прислуживать придется важной персоне, разлетелся с серебряным прибором. И вдруг, вместо важного сановника, он увидел закованного по рукам и ногам арестанта, окруженного восемью жандармами. Его изумление было так велико, что все повалилось у него из рук, и он долгое время не мог притти в себя.

„Оправившись, официант упорно хотел взять серебро обратно, боясь, что у такого „сурьезного" преступника, пожалуй, чего и не досчитаешься, но за таковые „несуразные" понятия был унтером обруган „необразованностью" и „деревенщиной татарской".

Поезд подъезжает к Петербургу. Настроение у Гершуни повышенное: „Бодро, весело глядишь вперед. Первый процесс для революционера, это—как первый бал для 16-ти-летней девушки. Нужды нет, что первый же часто бывает и последним, что впереди виселица. Идешь, как на бой, как на праздник".

Гершуни привлекается по целому ряду дел: тут участие в убийстве и министра Сипягина, и губернатора Богдановича, тут и покушение на обер-прокурора Победоносцева, и убийство харьковского губернатора Оболенского и др.

От каких бы то ни было показаний Г. А. Гершуни категорически отказывается. Даже в ответ на предложение подписать постановление о заключении его под стражу, Гершуни с улыбкой отвечает:

— Попробую посидеть без подписи. Авось не выселят.

В ожидании суда Гершуни препровожден в Петропавловку. „Снаружи крепостные стены облицованы гранитом и имеют вид зловещий, но все же величественный.

Изнутри—мерзость и запустение. Зеркальное отражение самодержавного режима",—описывает Гершуни мрачный вид своей камеры, одной из тех, где заживо сожгла себя заключенная Мария Ветрова.

Идут долгие дни ожидания суда. Подобно тому, как, рядом с героическими фигурами Желябова и Перовской,— перед глазами человека, изучающего эпоху, встают зловещие тени предателей Рысакова или Меркулова, так же точно, как рядом с лучистыми образами Каляевых и Сазоновых громоздятся жуткие призраки Татарова и Азефа, так рядом с хрустально-чистой фигурой революционера Гершуни жутким призраком вырастает очередной предатель, Фома Качура.

Заключенному Гершуни предъявляется ряд все новых и новых обвинений. Эти новые обвинения,—как любезно сообщают жандармы,—составлены на основании „чистосердечных показаний" члена боевой организации Фомы Качуры. Гершуни долго не верит этому, но целый ряд мелочей и деталей не оставляют сомнений.—Увы, это верно. Это безусловно слова и показания Качуры.

— В душе поднимается невероятный ад. Мгновение,— и перед глазами все поплыло. Делаешь над собой невероятные усилия, чтобы сохранить наружное спокойствие. Знаете ли вы, что такое смертельный ужас за человека, ужас за сложность и таинственность того, что называется человеческой душой? Качура—предатель?! Много пришлось пережить в жизни тяжелых давящих минут. Но таких мучительных, таких леденящих и опустошающих душу, не представлял себе.

— Ни одно дело, ни один крупный процесс не обходится без предателей,—грустно говорит Гершуни:— В делах, где впереди виднеется виселица, повидимому

нельзя добиться, чтобы все одинаково стойко дошли до конца. Но как бы вы теоретически ни знали это, все же ничто не может сравниться с мукой, что в *вашем* деле оказывается предатель.



Г. А. Гершуни.

— Качура,—рассказывает Гершуни,—принимал участие в движении уже 8 лет, еще с 1896 года. Еще три года назад, в 1901 году, он играл видную роль, пользовался влиянием. Уже тогда он заявил товарищам, что он окончательно решил убить Победоносцева, как самого сильного и опасного врага свободы. Это дело он отныне ставит целью своей жизни, и, если товарищи не помогут,—он пешком доберется до Петербурга и в одиночку приведет в исполнение свой план.

Боевая организация не сразу приняла его в свою среду. Качуре предложили продолжать общую револю-

ционную работу. К нему продолжали присматриваться, не торопясь давать ответственную работу.

Только через год после его заявления, когда товарищ Качуры, находившийся в одном с ним положении в том же Киеве, рабочий Чепегин, не получив согласия на принятие его в организацию, взяв кухонный нож, пошел в Летний сад Купеческого собрания с целью убить знаменитого жандармского генерала Новицкого, и, вместо него, по ошибке, ранил какого-то генерала Вейса,—только тогда боевая организация решив, что у рабочих начинают накипать настроения, с которыми шутить нельзя, опасаясь, чтоб Качура не выкинул какой-нибудь неожиданности, окончательно решила принять его в свои члены.

Перед принятием с ним виделся член организации, предостерегавший его от необдуманного шага.

— Помните, Фома, от вас может потребоваться нечто, более тяжелое, чем смерть. Вас могут подвергнуть пытке. Уверены ли вы в своих силах?

— Уверен!—твердо отвечает Качура:—Пусть на куски режут, ничего от меня не добьются.

— Фома, вы,—не забывайте,—рабочий. От вас потребуют больше, чем от интеллигента. Взвесьте все. Ведь желающих итти на террор слишком достаточно. Может, вы еще испытаете себя?

— Я больше года жду. Чего же еще ждать,—отвечает Качура:—Ведь я не мальчик. Мне 27 лет. Хорошо знаю, на что иду. Партия не будет жалеть, что приняла меня.

Его приняли. Он сделал свое дело смело, мужественно. На суде и после суда—говорит Гершуни,—держал себя необычайно: целый год поражал жандармов своей бодростью. А под конец все-таки пал, и так низко, низко.

Плеве решил не создавать большого процесса террористов, чтобы не усиливать общественного значения дела. Судить их решено небольшими группами. Роли Гершуни в этой серии придается особое значение. Недаром же с визитом в его камеру в Петропавловке является „сам", всесильный и всемогущий в те времена, министр внутренних дел В. К. Плеве.

Дверь камеры приказано закрыть. Министр с заключенным остаются наедине.

— Имеете что сказать мне?—начинает Плеве.

— Вам?!

Одно только слово произнес Гершуни, но должно быть выразительно прозвучало оно. Плеве сразу же кинулся к выходу. „Вылетел так же быстро, как и влетел".

Но на этой попытке дело не останавливается. К Гершуни подсылают все новых и новых людей. Приезжает и директор департамента полиции Трусевич, и вице-директор Макаров.

— Правительство хотело бы объясниться с вами начистоту. Ваше дело слушается в военном суде, и приговор по 279 статье известен заранее. Мы хорошо знаем, с кем имеем дело, и далеки от мысли предлагать вам какие-нибудь сделки, откровенные показания и пр. Вы свое дело сделали. Но правительство охотно пойдет навстречу отмене вашей казни.

— С какого это времени Плеве так тревожится и заботится о жизни революционеров?—спрашивает Гершуни.

— Оставим Плеве в стороне. Вы не давали никаких показаний. Это придает специфический оттенок вашему отношению к правительству, оттенок, так сказать, пренебрежительный. Не смейтесь, это так. Все, что от вас требуется,—это чтобы вы подтвердили правильность обви-

нения в тех частях, которые и без того бесспорны, несомненны.

— Коротко и ясно. За признание себя членом боевой организации вы предлагаете мне такую хорошую плату, как жизнь? Для меня до сегодняшнего дня неясно было, признаваться в этом или нет. Теперь мне ясно, нет.

— Что за странная логика?

— Видите ли... Раз вы даете за это признание такую хорошую плату, значит это для вас выгодно. А если выгодно для вас, то для нас убыточно.

Целых три часа доказывает вице-директор Макаров, что Гершуни „для блага родины" обязан не лезть в петлю. Убедить не удалось. Через два дня он снова является к Гершуни с новыми убеждениями:

— Бросим это,—говорит наконец Гершуни:—я не хочу вас оскорблять. Кто вас знает, быть может, вы лично, и в самом деле, честный человек. Семья ведь не без урода. Запомните же, чтоб вам впредь в сношениях с революционерами не терять лишнего времени, если уж вы сами не понимаете этого. Взрослый, сознательный человек, идя в революцию, продуманно решает вопрос всей своей жизни. Он разрывает со старой и входит в новую жизнь, вне которой у него нет ничего. Компромиссы с совестью делались там, в старой жизни. В новой их нет, потому-то в новую и ушел, чтобы избавиться от компромиссов! Критерием наших действий является только благо и интересы трудового народа, т.-е. благо и интересы революции. Критерий действий правительства прямо противоположный. Мы и вы—два непримиримых лагеря. То, что хорошо, полезно, выгодно для вас, дурно, вредно и невыгодно для нас. Вам почему-то нужно мое заявление о принадлежности к боевой орга-

низации,—одного этого достаточно для революционера, чтобы с таким заявлением не торопиться. Из рук Плеве, да и вообще из вражьих рук, мы жизни не принимаем.

— Есть еще одно обстоятельство. Я—еврей,—продолжает Гершуни объяснять директору департамента:—Вы ведь, а равно и те, которые достаточно глупы, чтобы вам верить, твердят, что евреи стараются уходить от опасности, что вследствие трусости они избегают виселицы. Хорошо. Вам будет дано увидеть пример „еврейской трусости". Вы говорите, что евреи умеют только бунтовать? Вы увидите, умеют ли они умирать. Скажите вашему Плеве: торговаться, сговариваться нам не о чем. Пусть он делает свое дело: я свое сделал.

Приговор Г. А. Гершуни вынесен именно тот, которого ожидали: смертная казнь через повешение.

— Камера. Стоишь в недоумении. Так это-то и есть смертный приговор? Как просто! Почему же нет никаких таких особенных чувств. Или они еще будут? Наскоро раздеваешься и ложишься спать.

Через каждые несколько минут повторяется разглядывание в глазок. Очевидно, следят за приговоренным.

Как избавиться от этого? Даю звонок, является дежурный.

— Слушайте, голубчик. Я приговорен к смертной казни. Очень устал. Спать до смерти хочется, но ваше подглядывание не дает заснуть. Подумайте сами, чего вам глядеть-то? Видите, я спокоен, ничего над собой не сделаю, только и всего, что высплюсь, а?

Уже и после приговора в камеру Гершуни снова является посланник от министра внутренних дел, вице-директор Макаров.

— Приговор вынесен. Неужели вы так и думаете итти на виселицу! Какой же смысл лезть в петлю? Ведь вы в загробную жизнь, надеюсь, не верите. Выполните вы формальность. Ну там прошение, заявление, что в этом дурного? От вас не требуется никаких признаний, никаких раскаяний.

— Разве вам не известно, что у нас, революционеров, подача прошения о помиловании считается самым позорным преступлением? — с улыбкой отвечает искусителю Гершуни.

Казнь ожидается со дня на день. Гершуни тверд и спокоен, но невеселые мысли бродят все же в его голове в эти часы ожидания.

— Давит одиночество. Как мучительно хочется видеть близкое лицо! Хоть один сочувственный взгляд, как бы он поднял настроение. Как завидуешь бойцам, имевшим счастье умирать открыто, оставляя одним любовь, другим кидая презрение... Ночью выведут на двор. Палач и несколько жандармов... Задушат и бросят тут же в яму. Горькая судьба русского революционера! Во время работы, как травленый зверь, преследуем жандармами. В тюрьме охраняют жандармы, на следствии допрашивают жандармы, на суде окружают жандармы, на эшафоте казнят жандармы. И последний вздох, последний привет товарищам-бойцам и несчастной родине перехватывают все те же жандармы.

— Усталым, тоскливым взглядом скользишь по обнаженным шашкам и бесконечным мундирам, и пред тобой поднимается, все больше и больше разрастаясь, как бы символ несчастья страны, громадных размеров жандарм. Он все увеличивается, увеличивается, необъятные лапы охватывают бьющуюся и стонущую Россию. Лозунг рос-

сийского исконного начала: „Все для жандармов и все посредством жандармов“.

— С завистью думаешь о расстрелянии. Вот хорошая смерть. Повесить русские жандармы, конечно, толком не сумеют. В России вешают отвратительно и зверски. Редко казнь протекает без каких-нибудь мучительных осложнений. Жертва бьется в петле иногда минут 10—20. Степана Балмашова палач держал за ноги, так как они упирались в помост эшафота. Гершкович был вынут из петли через 30 минут, и сердце еще слабо билось.

Гершуни был твердо уверен, что после приговора его будут пытать. „Не зная наперед, до какого предела сумеешь держаться“,—он уже давно, еще перед арестом, обеспечил себя достаточной дозой морфия, которую удалось спасти от самых утонченных обысков.

Но времена для царского самодержавия были тяжелые. Уже полыхала японская война, уже вспыхивали предвестники революционной грозы 1905 года. Правительство не желало новыми казнями волновать страну.

Три недели длится ожидание казни. Три недели каждая ночь в сознании осужденного — последняя ночь, каждое утро — последнее утро. Но вот гремит открываемый засов, бренчит замок камеры. Появляется председатель военного суда, барон Остен-Сакен, с пышной свитой.

— Я принес вам высочайшую милость. Вам дарована жизнь.

— Я об этом не просил, вы это знаете? — отвечает Гершуни.

— Да, я знаю.

Он вышел. „Несколько секунд я простоял без движения, потом, незаметно для себя, опустился на койку.

Все тело начало дрожать. Весь похолодел, затем сразу облился холодным пóтом. Хорошо помню, мыслей никаких не было. Холод сменился жаром. Чувствовалась невероятная разбитость и слабость. Трудно неожиданно перейти от смерти к жизни".

— Жизнь дарована, надо жить. Надо тянуть лямку вечной каторги.

От единственной радости, от прогулок в четверть часа—приходится отказаться. Еще при аресте, во время заковки в кандалы, кузнец по неосторожности ударил арестованного молотком по пальцу ноги. Осколок ногтя врезался в палец. „К доктору обращаться было неловко",—объясняет Гершуни:—„человека вешать собираются, а он палец вздумал лечить". Прошел год. Воспаление сильно осложнилось. Крепостной врач впоследствии сделал, вдобавок, операцию настолько неумело, что она потребовала все новых и новых повторений. 26 раз резали ногу заключенному, но так навсегда и осталась хромота.

Гершуни на шлиссельбургском положении. Запрещены свидания и переписка, отобраны письменные принадлежности, отобрано и главное—книги.

— Пока есть книга,—есть жизнь. Своеобразная, однобокая, все же жизнь. Но, когда вас оставляют в четырех стенах, и оставляют не временно, а навсегда, когда, кроме этих четырех стен, вы ничего не видите, никаких впечатлений не получаете,—что делать, как жить?

— Бесконечная злоба правительства—это желание выместить над связанным врагом свою ненависть, желание сломить его волю, и заставить его просить пощады, приносит результаты совершенно противоположные.

„А, вы хотите сломить меня? Хорошо же. Посмотрим, кто кого сломит". И какое бешеное наслаждение и глу-

бокое удовлетворение испытываешь при сознании, что тебя пытают, а дух твой еще сильнее закаляется. И вспоминаются невольно стихи шлиссельбуржца Морозова:

И в тюремной глуши,
Где так долги года,
Нашей вольной души
Не сломить никогда.

* * *

Чтобы полностью и до конца оценить высокую душевную настроенность Каляева, Сазонова и др., — надо вспомнить еще и ту жуткую обстановку провокации, в какой происходит их деятельность.

Дело не только в том, что во главе боевой организации с.-р. стоит Азеф. Провокация насквозь источила террор.

Когда, после убийства вел. кн. Сергея, Савинков уезжает в Женеву, он совещается здесь не только с „оказавшимся впоследствии предателем“ Азефом, но еще и с другим „оказавшимся впоследствии предателем“ членом ЦК партии эс-эров Татаровым. Здесь же оказывается еще и третий, тоже „оказавшийся впоследствии предателем“—Гапон.

Гапон — человек новый, но осведомлен он не плохо. При встрече с Савинковым он, как оказывается, уже знает об его роли в московском деле. „Поздоровавшись со мною“,—рассказывает Савинков, — „Гапон взял меня под руку и отвел в другую комнату. Там он неожиданно поцеловал меня.

— Поздравляю.

Я удивился.

— С чем?

— С великим князем Сергеем".

Эта осведомленность отнюдь не случайна. Тайн давно нет. В партии очень много провалов.

17 членов боевой организации в Москве и Петербурге в это время арестованы. У многих из них обнаружен динамит.

Из-за границы посылается в Россию Хаим Гершкович. Одновременно с этим в департамент полиции отправляется очередное письмо, рапорт по начальству от Азефа. Хаим Гершкович арестован и казнен.

Не счесть всех „случаев" такого рода.

Только что успевший выслужиться перед партией эс-эров, Азеф торопится дать компенсацию департаменту полиции и охранке. Когда служишь на двух должностях одновременно, надо стараться, чтобы ни одна не ревновала к другой.

Количество провалов уже давно угрожающе растет.

Но и партия эс-эров, и боевая организация еще и теперь не обращают внимания на многочисленные указания на предательскую роль Азефа. Все сообщения об этом, получаемые с разных сторон, передаются членами ЦК на благоусмотрение самого же Азефа, и толстый и жирный „Иван Николаевич" равнодушно пожимает плечами, читая передаваемые ему сотоварищами очередные разоблачения.

— Положительно, это становится утомительным. Как это врагам не надоест пользоваться все одним и тем же приемом, чтобы компрометировать его, Азефа.

Когда в петербургском комитете партии было получено очередное анонимное письмо, принесенное некоей незнакомой дамой, в котором, как и в прежде полученных предупреждениях, не только черным по белому указано,

что „инженер Азеф и бывший ссыльный Т. (Татаров) — секретные сотрудники департамента“, но кроме того, перечислено даже, что именно тот и другой „осветили“ полиции, — то письмо это „не вызвало тогда во мне — свидетельствует Савинков — никаких сомнений. Уже не говоря об Азефе, я и Татарова не мог заподозрить в провокатуре. Но я не понимал происхождения и цели этого письма и решил поэтому ехать заграницу, посоветоваться с Гоцем и Азефом“.

Во всех остальных делах Савинков проявляет себя исключительно осторожным, прозорливым и решительным человеком. В данном случае перед нами иное. Он робок, бесхарактерен и нерешителен, как ребенок. Дело касается предательств, совершенных Азефом, но ничего лучшего, кроме идеи посоветоваться с самим же Азефом, не может придумать этот ловкий и опытный конспиратор.

Удивляться ли, что впоследствии, когда дело Азефа раскроется до конца, и в г зетах всего мира появятся портреты Азефа, этого жирного, редко антипатичного по наружности, человека с отталкивающим, тупым лицом предателя,--даже В. В. Розанов в „Новом Времени“ разведет руками, и с искренним изумлением напишет:

— Что же это за партия такая? Что это за революционеры, борцы за новую жизнь, если долгие годы они глядели в глаза этого человека, от всего вида которого так и разит Иудой-предателем, и долгие годы верили ему, и слушались его, и преклонялись пред ним?

Когда, явившись в Женеву, Савинков обращается к Гоцу, оказывается, что текст очередного письма с указанием на двух предателей, Азефа и Татарова, Гоцу уже из Петербурга доставлен. „Он спросил меня“,—рассказывает Савинков, — „что я думаю о письме“.

Но Савинков ничего не может придумать.

Об Азефе не может быть и речи. Как жена Цезаря, он выше подозрений. Этот римский папа, конечно, безгрешен.

— А Татаров? — спрашивает Гоц.

— Я сказал, что знаю Татарова давно, и не могу допустить мысли, чтоб он мог стать провокатором.

В отличие от всех предыдущих случаев, когда получаемые предупреждения только передавались Азефу и без дальнейших последствий уничтожались, на этот раз Гоц настоял на расследовании. Собран особый пленум, в котором участвуют не только члены ЦК, но и „близкие к нему люди". На собрании Гоц, Савинков, Минор, Чернов, Тютчев и др.

Гоц, открывая собрание, сказал:

— Я много думал. Положение очень серьезное. Мы, мне кажется, должны стоять на единственной революционной точке зрения. Для нас не может быть ни имен, ни авторитетов. Будем исходить из крайнего положения. Допустим, что каждый из нас находится на подозрении. Я начинаю с себя. Моя жизнь известна. Кто может что-нибудь возразить?

Он остановился потом на жизни каждого из присутствующих и спросил:

— Может быть, кто-нибудь определенно подозревает кого-либо?

Как ни странно, но и при такой постановке вопроса имя Азефа обсуждению не подвергается. Максимум, до которого дошла решительность эс-эров, — это подозрения по адресу Татарова. Этот член ЦК с.-р. в этот период неожиданно для всех сотоварищей предпринял издание в России легальным путем статей Гоца, Шишко, Чернова, Баха

и других видных эс-эров. Татаров не побоялся опубликовать этот „список, обращающий внимание цензуры“. Татаров тратит во все стороны деньги, которые ему, будто бы, дал на издательство известный общественный деятель Чарнолусский.

Дело, как будто, нечисто. По настоянию Гоца,—в Петербург послан член ЦК Аргунов, для проверки у Чарнолусского, действительно ли он дал Татарову 15 тысяч рублей. Проверка по первому слову приносит яркие результаты. Чарнолусский очень удивлен. Никаких денег Татарову он не давал и не обещал.

По настоянию Гоца, за Татаровым учреждено „негласное наблюдение“. Вести это наблюдение поручили Савинкову, командировав к нему на сей предмет двух помощников.

Состоящий уже 15 лет на службе охранного отделения Евгений Филиппович Азеф пока выше всяких подозрений. На очереди разоблачение другого провокатора, Татарова, и Азеф выступает в роли охранителя чести и чистоты партии эс-эров.

Впрочем, распутать узелок, касающийся Татарова, тоже оказывается очень нелегко. „Революционная репутация Татарова“, — говорит Савинков, — „стояла высоко. В ответ на запрос моего мнения о Татарове, я дал самый лучший отзыв, и иного дать не мог. Революционное прошлое Н. Ю. Татарова не нуждалось в рекомендации, и сам он был человеком крупного ума и больших дарований“.

Уже существует особая комиссия для расследования дела Татарова, но сам Татаров еще ни о чем не подозревает. У него добрые отношения с членом комиссии Савинковым, и Татаров даже расспрашивает его о делах боевой организации.

Сам Савинков уже знает, что Татарову рассказывать ни о чем нельзя, но „он бывал не у меня одного. Он расспрашивал всех и обо всем. Ему доверяли. Центральный комитет молчал о своих подозрениях, и Татаров вскоре знал слишком многое“,—горько вздыхает Савинков.

Татаров в этот период готовится к отъезду в Россию. На прощание он устраивает товарищам обед. На этом обеде у предателя очень много гостей. Татаров оживлен и весел. ЦК не считает удобным портить общее настроение. Только после обеда, „когда гости стали расходиться“, находящиеся среди них Савинков и Чернов подходят к Татарову.

— Когда вы хотите ехать?

— Сегодня вечером.

— Сегодня вечером это невозможно.

— Почему?

— У ЦК к вам дело. ЦК просит вас остаться.

Первое заседание по делу Татарова происходит в квартире Минора. С первых же слов вопрос ясен. — Откуда взялись у вас деньги на издательство? — От Чарнолусского.—Чарнолусский вам денег не давал.—То-есть, как не давал? Чарнолусский дал мне 15 тысяч. — Это ложь! Мы навели справки, Чарнолусский заявил, что денег вам не давал.—Это недоразумение!—лепечет Татаров:—Впрочем, нет. Деньги дал мне мой отец.

Такие же результаты дают и все остальные заданные Татарову вопросы.

— Почему цензура допустила ваше издание? — Мне обещал покровительство один князь.— Какой князь?— Это все равно... Князь. — ЦК приказывает вам назвать фамилию. — Ну, хорошо. Это граф... — Вы ведь говорили, князь? — Это не важно, граф или князь. Да и вообще,

зачем фамилия? — ЦК приказывает! — Ну, хорошо, граф Кутайсов.

Татаров не может ответить даже на вопрос о своем адресе.

— Где вы живете? — В гостинице Путешественников. — В каком номере? — Кажется, в 28. — Это ложь. Мы справлялись. В этой гостинице вас нет. — Я ошибся. Я живу в гостинице „Англия". — Мы справлялись и в гостинице „Англия", вас там нет. — Я не помню названия гостиницы. Быть может, это и не „Англия". — На какой же улице гостиница, в которой вы живете? — Не помню.

Долго и мучительно тянется этот допрос члена ЦК партии, который не помнит ни названия гостиницы, в которой живет, ни улицы, на которой она помещается, ни фамилии, под которой он прописан.

— В чем вы меня обвиняете? — спрашивает, наконец, Татаров. — Вы знаете сами. — Нет, я не знаю. — Мы обвиняем вас в предательстве. Лучше, если вы сознаетесь. Избавьте нас от необходимости уличать вас.

Татаров молчит. Молчание длится минут 10. Наконец Бах напоминает, что в свое время Дегаеву, когда выяснилось его предательство, были поставлены условия, на каких он может спасти свою жизнь. — Хотите ли вы, чтобы и вам были поставлены условия? — спрашивают Татарова.

Татаров не отвечает. Молчание длится еще минут 10. Все время Татаров сидит, закрыв голову руками. Наконец, он поднимает глаза:

— Вы можете меня убить, я не боюсь смерти. Но я даю честное слово, я не виновен.

Уже после первого допроса все члены комиссии по расследованию единогласно „вынесли уверенность, что

Татаров состоит в сношениях с полицией". Но допрос тянется еще несколько дней. Помимо официальных заседаний комиссии, Савинков и Чернов частным образом посещают Татарова на дому. Тянутся разговоры, допросы, собеседования.

Систематически захватываются в это время полицией те члены партии, чьи имена и адреса были известны Татарову ранее. Сам Татаров, с новыми данными, собирается в Россию. Но, решительные и энергичные во всех остальных делах, эс-эры проявляют в данном случае совершенно исключительную мягкость и благодушие. Хотя сношения Татарова с полицией считаются установленными бесспорно, но, как оказывается, еще „не выяснен характер этих отношений".

Следствие постановлено продолжать. Татаров, как ни в чем не бывало, беспрепятственно уезжает в Россию.

Спокойно продолжая работать на пользу департамента полиции, он посылает в этот период не лишенные лиризма письма в ЦК партии о том, как тяжелы обвинения для человека, который всю жизнь отдает революционному делу. „Революция для меня была святыней, выше жизни, выше всего. Одна мысль, польза революционного дела, руководила мною во всем!"

Осудить Татарова ЦК так и не рискнул.

Только впоследствии, когда выяснилось, что Татаров распространяет „позорящие партию слухи", о том, что глава боевой организации, Азеф, состоит на службе в департаменте полиции, только тогда ЦК „обиделся", наконец, на Татарова и отказался от принятой им, воистину изумительной, системы непротивления злу. На этот раз оскорблен Азеф, а это недопустимо. Савинков догадался, наконец, предложить взять на себя организа-

цию убийства Татарова, и ЦК согласился на это предложение и ассигновал необходимые средства.

Как понять, как оценить всю эту сумасшедшую путаницу? Как распутать этот кровавый клубок?

С тем, что член ЦК Татаров находится в сношениях с полицией, предает и продает и членов партии, и самую революцию, — с этим еще можно было мириться. Но Татаров осмеливается непочтительно выражаться о самом генералиссимусе, Азефе, и с этого момента ему нет места на земле. Он должен быть убит, уничтожен, испепелен.

* * *

Надо ли всматриваться в то, как именно осуществляется это убийство предателя?

Агентурным путем Савинков установил, что Татаров в Варшаве, что живет он у своего отца, настоятеля, в церковном доме.

Убийство Татарова Савинков берет целиком на себя, стараясь не беспокоить Азефа. Дело в том, что Татаров, как и другие источники, настойчиво уверяет, что Азеф находится на службе в департаменте полиции. Конечно же, „ЦК и все члены боевой организации считали эти обвинения ни на чем не основанной клеветой“. Ясно, что „нам казалось необходимым избавить Азефа от тяжелых забот по убийству оклеветавшего его провокатора“.

Вот она, подлинная галантность! Хорошее воспитание не может не сказаться в поведении джентльмэна.

„Тяжелые заботы по убийству“—берет Б. В. Савинков лично на себя. Но это не значит, конечно, что он отступит от своего принципа и лично выступит, как исполнитель акта. Нет, это не для него. Для этого найдутся чернорабочие, рядовые.

У террора своя логика. С тех пор, как комиссия с.-р. судила Татарова, но благополучно предоставила ему уехать в Россию и отвезти свежий запас сведений для департамента полиции, ничего ровно не изменилось. Никаких новых данных о виновности Татарова не получено. Имеется налицо все тот же запас обвинительных материалов, какой был собран еще во время заседаний комиссии. Но тогда это считалось недостаточным, и Татарова с миром отпустили, а теперь убийство Татарова объявляется срочной и неотложной задачей.

План убийства разработан детально. В Варшаве нанята для этого особая квартира. В ней живут Мария Беневская и Моисеенко. Савинков должен пригласить в эту квартиру Татарова на свидание, а специально выписанные для этого в Варшаву члены боевой организации Калашников, Дойников и Назаров прикончат его там по всем правилам.

Роли расписаны, мизансцены разработаны. Савинков отправляется к Татарову на дом с визитом, приглашать его на свидание.

— Чем могу служить? — церемонно спрашивает при встрече Татаров.

Савинков объясняет. Дело в том, что члены следственной комиссии с.-р. приехали в Варшаву. Они приглашают его на свидание, потому что „получены новые сведения, которые могут сильно изменить его положение“. Ему хотят дать полную возможность защищаться.

— В партии есть провокатор, но это не я, а Азеф, — настаивает Татаров. Но эти слова могут только укрепить и без того готовый приговор.

— Сегодня вечером, — говорит Савинков, — на улице Шопена состоится заседание комиссии. Вы придете?

— А кто там будет? — взволнованно спрашивает Татаров.

— Чернов, Тютчев и я.

— Больше никого?

— Никого.

— Хорошо, я приду!

„Он протянул мне руку и я пожал ее".

В назначенный час члены боевой организации во всеоружии дежурят в конспиративной квартире на улице Шопена и взволнованно глядят на часы.—Клюет! В окно видно, что Татаров приближается к дому. Через несколько минут он подымется в квартиру, и сразу же будет убит во славу боевой организации.

Но Татаров оказывается хитрее, чем предполагал Савинков. „Войдя в ворота, он вызвал дворника, долго расспрашивал его о чем-то и, почувствовав неладное, скрылся".

Савинков не желает более мудрить. Вместо прежних, сложных и требующих подготовки планов, он решает послать одного из своих „рядовых", Назарова, на квартиру Татарова.—Пойди и убей.

Конечно, неприятно, что Татаров живет вместе с родителями, что убивать его, чего доброго, придется на глазах у отца и матери. Но что ж делать! Честь боевой организации превыше всего.

Назаров выполняет приказание Савинкова свято. Он является на квартиру Татарова, заговаривает с его матерью и отцом. Как только Татаров вышел, он, не теряя ни минуты, приступает к делу. „Татаров стал на пороге. Стоит, большой такой. Я вынул револьвер, поднял. Тут отец старик толкнул меня в руку. Я стал стрелять, не знаю, куда пули ушли. Бросился на меня Тата-

ров. Все трое бросились. Мать на левой руке висит, отец на правой. Я оттолкнул старуху, упала. Я левой рукой нож вынул, ударил ему в левый бок. Еще выстрелил, руки в карман спрятал, вышел, извозчика взял, в номера приехал, расплатился, —и на вокзал“.

Татаров убит. Даже его старуха мать—и та ранена двумя пулями. Но положение в партии осталось неизменно. Провалы продолжаются. Где-то в центре находится очевидно иной, еще более важный провокатор.

* * *

Во дни убийства Александра II казалось, что „Народная Воля“ накануне полной и окончательной победы.

Правда, темные силы резко отшатнулись от революционеров в те дни.

Так, после казни А. И. Желябова, его жена, дочь богатого купца Яхненко из Киевской губернии, подала прошение на высочайшее имя о перемене фамилии.—Да воззрит его императорское величество милостивым оком своим. Пусть и она, жена, и дети казненного преступника будут избавлены от позора именоваться фамилией Желябова. Да исчезнет навеки веков самое имя повешенного злодея.

Но вся мыслящая Россия, казалось, неразрывно связана с народовольцами.

В тот день, когда впервые появилась на эшафоте представительница русских женщин, С. Л. Перовская,—она и остальные четверо казненных с нею представляли разные слои: Желябов—крестьянин, Кибальчич—сын священника, Тимофей Михайлов—рабочий, и Рысаков—мещанин. „Эмблематически представлены оказались“, — указывает В. Фигнер,—„все сословия Российской империи“.

Имя Желябова считалось знаменем в те дни. В сознании многих „Русь Желябова“ противополагалась Романовской Руси. В стихотворении молодого поэта А. Ленцевича, покончившего самоубийством в ссылке в Якутской области, читаем:

Исчезает Русь Романова,
Русь насильника-царя.
Вижу в небе светит заново,
Ярко радостно горя,
Для голодного, для слабого,
Солнце жизни и весны!
Воскресает Русь Желябова!
Зреют творческие сны.

По отзывам современников, „после взрыва 1-го марта, общество ждало не того, что даст царская власть, а того, что сделает революционная сила“.

Дело дошло до попытки правительства заключить перемирие с партией „Народной Воли“. К Вере Фигнер в Харьков неожиданно приехал Н. К. Михайловский с сенсационным сообщением о том, что граф Воронцов-Дашков через некоего литератора Николадзе просил Михайловского выступить посредником между правительством и исполнительным комитетом.

Сущность предложения в том, что правительство утомлено борьбой с „Народной Волей“. Оно готово будто бы, вступить на новый путь, но не может приступить к этому под угрозой революционного террора. Только террор препятствует осуществлению ряда реформ. Если „Народная Воля“ согласится воздержаться до коронации от террористических актов, то во время коронационных торжеств будет издан манифест, дающий политическую амнистию, свободу печати и даже социалисти-

ческой пропаганды. В доказательство своей искренности правительство согласно немедленно же освободить кое-кого из осужденных народовольцев.

Террор, казалось, является победителем по всей линии.

„Громадное возбуждение умов явилось следствием деятельности Исполнительного Комитета Народной Воли. Смелость заразительна, как и панический страх,—напоминает В. Фигнер:—Энергия и отвага организации увлекали за собою живые элементы, и самая смерть не была страшна“.

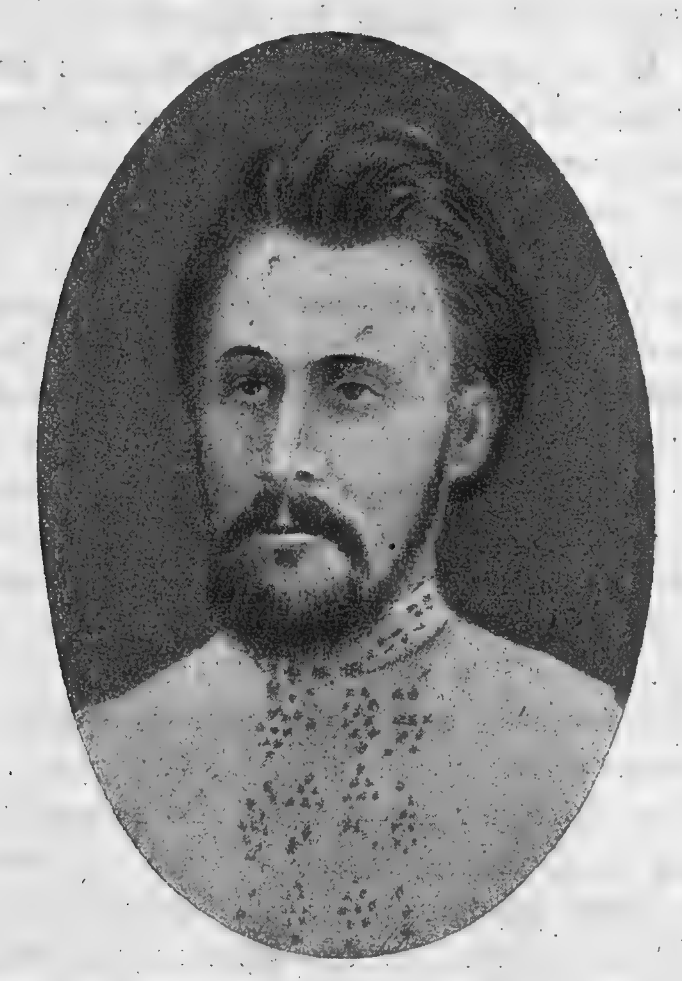
— Народовольцы—говорит в своих воспоминаниях А. В. Тырков—слишком ярко выделялись на общем фоне общественного равнодушия. В их устах весь перечень хороших слов: „служение народу“, „любовь к правде“ и т. д.—получал могучую силу живых двигателей. Все, у кого душа болела, особенно молодежь, невольно шли к народовольцам.

— Самая гибель социалистов способствовала росту движения. Чем тяжелее и жесточе была расправа с захваченными,—тем больше вырастал нравственный ореол, какой дает мученичество за свои убеждения.

Но очень скоро выяснилось, что народовольцы одержали всего только пиррову победу. Они остались без войска.

„Народная Воля“ надеялась, что политическая катастрофа 1-го марта, низвергая императора, освободит живые силы народных масс, недовольных своим экономическим положением, и они придут в движение, а общество в то же время воспользуется благоприятным моментом и выявит свои политические требования. Но народ молчал и общество безмолвствовало. У „Народной Воли“ не оказалось ни опоры в обществе, ни фундамента в народе,

Народовольческая организация погибла, и напрасны оказались все попытки ее возобновить. Надо было — говорит,



А. А. Квятковский.

описывая это время, В. Фигнер — создавать фундамент, и на основе хозяйственного развития России строить новую партию. И действительно возникла Группа Освобождения Труда, которая, обратившись к рабочему классу, год за годом стала закладывать фундамент"...

Террористы пошли иными, индивидуальными, а не массовыми путями.

* * *

Каляевым и Сазоновым не исчерпываются силы Савинкова. В его распоряжении оказываются все новые и новые рядовые, беззаветно вверяющие ему свою жизнь. Место вышедших из строя Бриллынт, Сазонова, Каляева замещают новички: Мария Беневская, Борис Вноровский и многие, многие другие.

Кто они, эти люди? Мария Беневская, „румяная, высокая девушка со смеющимися голубыми глазами“, это— „верующая христианка, не расстававшаяся с евангелием“.

„На мой вопрос, почему она идет в террор, — она ответила не сразу. Я увидел, как ее голубые глаза стали наполняться слезами. Она молча подошла к столу и открыла евангелие: „Иже бо аще хочет душу свою спасти, погубит ю, а иже погубит душу свою ради мене, сей спасет ю“.

Эта голубоглазая девушка, пламенная христианка, кажется очень неожиданной фигурой в терроре. Но выдержкой она обладает незаурядной. Во время подготовки покушения на Дубасова, Беневская, разряжая бомбу, сломала запальную трубку. Запал взорвался у нее в руках. Она потеряла всю кисть левой руки и несколько пальцев правой, но сумела, стиснув зубы, перенести муку, ни единым стоном не выдав себя, чтоб не обнаружить конспиративной квартиры.

Вся залитая кровью, она дожидается прихода товарищей, чтобы известить их о положении. Только после этого отправляется она на перевязку оторванной руки в частную лечебницу. Правила конспирации она соблюдает свято. Лишь после перевязки, считая следы заметенными, она с подложным паспортом отправляется в боль-

ницу, где объясняет происхождение своих ран взрывом керосинки.

„Повреждения“, испытанные ею, очень серьезны. Протокол, составленный впоследствии на покинутой квартире, говорит: „По всей спальне были усмотрены разбросанные как бы по радиусам и прилипшие к полу, потолку и стенам сгустки крови, частицы мышц и сухожилий. В разных местах комнаты найдены оторванные пальцы и осколки костей“. Лужи крови усмотрены не только на полу, но и на потолке, где „в разных местах прилипли куски мяса“. Но перенесшая все эти повреждения Мария Беневская продолжает заниматься конспирацией. Перейдя с подложным паспортом из частной лечебницы в больницу, она спешит для сокрытия следов выписаться оттуда, и отправляется в другую больницу, с другим паспортом, на новое имя.

Все эти предосторожности не могут спасти от полиции члена той организации, во главе которой стоит Азеф. И после ряда перемен паспортов, в третьей больнице Мария Беневская все же арестована и сослана на каторгу.

Савинков берет на себя руководство покушением на Дубасова. 23-го апреля—царский день, когда Дубасов должен быть на торжественном богослужении в Кремле. К этому дню в Москву приезжает „сам“ Азеф. По савинковскому образцу, в момент покушения Азеф ожидает результатов в кафе Филиппова на Тверской. Бомба, брошенная студентом Борисом Вноровским, убила адьютанта Дубасова, графа Коновницына, убила и самого метальщика бомбы. Но сам Дубасов уцелел. Он только ранен. Покушение на Дубасова произведено по тому же образцу, как и прежние дела, организованные Савинковым. Но,

вместо грубого свертка, бомбы, завернутой в газетную бумагу, какими действовали Сазонов и Каляев, снаряд изготовленный боевой организацией для Бориса Вноровского, с точки зрения эстетики,—обнаруживает некоторый прогресс. Бомба, какой вооружен этот одетый морским офицером террорист, имеет вид „изящной коробки конфект". Она перевязана ленточкой, и в ленточку вставлены левкой и ландыш.—Да здравствует эстетика!

После Вноровского, как и после Каляева и Сазонова, остались письма, тщательно коллекционируемые Б. Савинковым.

„Мои дорогие!—пишет в письме к родителям Б. Вноровский:—Я приношу свою жизнь в жертву для того, чтобы улучшить, насколько это в моих силах, положение отчизны. Мне и самому страшно тяжело, что я становлюсь убийцей. Но иначе нельзя. Невыразимое спокойствие, полная вера в себя и надежда на успех наполняют меня. На казнь я пойду с ясным лицом, с улыбкой на устах. И вы, дорогие, должны утешаться тем, что мне будет так хорошо. Ведь вы в своей любви ко мне должны стремиться не к тому, чтобы я был обязательно жив, а к тому, чтобы я был счастлив. Прощайте же, дорогие! Спасибо вам за вашу любовь, за ваши заботы, за самую жизнь, которую я приношу трудящейся России, как дар моей любви к правде и справедливости. Ваш Боря".

Кроме этого предсмертного письма Б. Вноровского, Савинков умудрился сохранить еще и специально написанную погибшим автобиографию.„ Каждый сам себе истпарт!". Воистину поразительны эти архивные таланты коллекционера, какие так неожиданно проявляет Б. В. Савинков. О ком бы из своих „подчиненных", разновременно посланных им на жертву, на гибель и муки, ни писал Савинков,

о каждом из них у него имеются заблаговременно заготовленные и заботливо сохраненные документики.

Нельзя спорить против крупной ценности этих человеческих документов. Предсмертные исповеди, подлинные записи, сделанные в последние минуты,—это, конечно, важно, значительно и ценно. Но как, каким образом подготовил и собрал эту свою редкую коллекцию пылкий спортсмэн от террора Б. В. Савинков? Неужели, вправду, в решительную минуту, закончив разработку диспозиции и посылая на смерть очередную жертву, Б. В. Савинков считал долгом использовать этот момент для получения очередного документика? Просил ли он об этом обреченных, как просит локончик на память у своего предмета влюбленный гимназист, или в последнюю минуту, в порядке боевого приказа, отдавал распоряжение заготовить автобиографию?

В этой предсмертной автобиографии Борис Вноровский рассказывает о своих детских годах, когда он „представлял себе, что сделается либо очень богатым, либо царем, и что все свои богатства, всю свою власть принесет на пользу народа“. Рассказывает и о том, как он в детстве „увлекся идеей жизни личным физическим трудом“, и решил „когда сделается большим,—оставить культурное общество, сделаться простым работником (чаще всего почему-то извозчиком), и показать своим примером что правда жизни—в работе“.

Рассказывает он здесь и о гимназии, которая „не принесла ничего, кроме отвращения к усидчивому труду“, и о студенческих годах, где „главное впечатление, кроме университетских беспорядков, оставила опера. В опере я не столько слушал музыку, сколько думал под музыку и эти внутренние переживания дали мне много счастья“.

Рассказывает, наконец, Борис Вноровский в этой автобиографии и о несчастной любви своей, „первой и последней“ любви к женщине, вышедшей замуж за другого. „Я пережил очень много. Не дай бог никому!“ Но, когда любимая женщина удерживает его в тот час, когда он спешит по делу революции, он говорит ей:—„Я прокляну тебя, если опоздаю к товарищам!“

Какой мерой измерить ценность таких вот человеческих документов?

„Я не чувствую призвания убивать людей“,—говорит здесь этот террорист:—„Но я сумею умереть, как честный солдат! Между моментом моего согласия вступить в боевую организацию и моментом, когда меня поставили на подготовительную работу, прошло около месяца. Время это я употребил на переживание моего нового положения. Перед лицом своей совести, перед лицом смерти, на встречу которой я сейчас иду, я могу сказать—я совершенно победил страх смерти. Я хладнокровно застрелю себя, если мой снаряд не взорвется. Не изменившись ни в одном мускуле лица и не побледнев, взойду я на эшафот в случае успеха. Товарищам—мой привет! Я спокоен, я счастлив“.

Если б не знать заранее, можно бы подумать, что эти предсмертные строки писал Каляев. Борис Вноровский не испортил коллекции Б. В. Савинкова. Этот генерал имеет полное право гордиться своим собранием автографов. Его „подчиненные“ остаются на высоте.

— Рады стараться, ваше превосходительство!

* * *

Чем внимательнее всматриваемся мы в яркие образы Каляевых и Вноровских, чем резче встают пред нами

во веки веков проклятые фигуры Азефов и Татаровых, тем яснее, что подлинная сущность „героического в русской революции“ вовсе не исчерпывается личным благородством отдельных деятелей, высокой душевной настроенностью единиц.

Как ни величавы подвиги самопожертвования людей, умеющих жертвовать жизнью, одного этого мало. Не случайно возникают фигуры предателя Азефа, или авантюриста Савинкова.

Самая сущность террора несет в себе начала какого-то разложения.

„С того момента, как начала складываться рабочая партия,—говорит в своей книге по истории Р. К. П. Г. Зиновьев,—марксисты решительно выступили против индивидуального террора. В то время народники, а позднее эс-эры, пытались представить дело так, будто мы, марксисты, против террора потому, что мы вообще не революционеры, что у нас не хватает темперамента, что мы боимся крови и т. д. Ныне, после нашей великой революции, едва ли кто-нибудь станет нас обвинять в этом. На самом деле, марксисты в принципе никогда не были против террора. Они никогда не становились на почву христианского завета „не убий“. Марксисты подчеркивали, что они—сторонники насилия, и считают его революционным фактором. На свете слишком много такого, что можно уничтожить только оружием, огнем и мечем. Марксисты высказывались за массовый террор. Но они говорили: убийство того или другого министра не изменит дела; надо поднимать массы, организовывать миллионы людей, просвещать рабочий класс. И только тогда, когда он сорганизуется, только тогда пробьет решительный час, ибо тогда мы будем употреблять террор не в роз-

ницу, а оптом, тогда мы прибегнем к вооруженному восстанию".

Вне связей с массами нет и не может быть революционной деятельности, нет и не может быть подлинного героизма.

Вовсе не случайно вслед за Татаровым идет Азеф и многие, многие еще.

Вспоминаются жуткие фигуры Рысакова, Окладского и др., черной тенью выделявшиеся рядом с героическими фигурами Желябова и Перовской.

Пред нами явления одного и того же порядка. Индивидуальный террор уже и после 1-го марта оказался тесно связанным с предательством.

Кроме откровенных показаний Рысакова, деятельности жандармов помогали сведения, полученные еще и от другого предателя, арестованного в один день с Желябовым, Василия Меркулова. Этот Меркулов выступает „с открытым забралом". С каким-то особым шиком, со своеобразным хвастовством выдает он все, что было известно ему, пользовавшемуся доверенностью его прежних товарищей-революционеров. Он рассказывает все подробности подкопа на Садовой, в „сырной лавке Кобозевых", все детали покушения, какое устраивалось в Одессе. Ему, Меркулову, все известно! Не даром же он, еще накануне своего ареста, по поручению Желябова носил в лавку Кобозевых мешки для земли из подкопа. Он, Меркулов, знает все имена, помнит все адреса. Он может опознать не только всех арестованных, предъявленных ему, но и все имеющиеся у жандармов карточки подозреваемых. Он, Меркулов, знает, например, что писателю Успенскому давалась для чтения газета „Народная Воля", при чем у Успенского спрашивали его мнения о достоин-

ствах той или иной статьи. Он, Меркулов, предполагает даже, что квартира Успенского служит пристанищем для нелегальных лиц. „При этом Меркулов предлагает свои услуги и на будущее: ежели ему предоставят возможность, то он готов, под строгим надзором по отношению к нему полиции, указать всех известных ему лиц, проживающих в С.-Петербурге и принимавших участие в покушениях на жизнь в бозе почившего государя императора“.

Это предложение предателя в срочном порядке было препровождено на усмотрение его императорского величества. Только что взошедший на престол Александр III изволил на рапорте о шпионском предложении Меркулова собственноручно начертать: „Надеюсь, что воспользовались его предложением“.

Высочайшая резолюция немедленно покрывается лаком, на предмет сохранения ее на вечные времена,—„да ведают потомки православных земли родной минувшую судьбу“, а бывшего революционера, предателя Меркулова, сразу же выпускают из тюрьмы, и с переодетыми чинами полиции выпускают гулять по улицам Петербурга для арестов всех, кого он укажет.

Способ оказывается удобным. В числе первых арестован остававшийся до тех пор неизвестным Емельянов, 4-й метальщик бомб на Екатерининском канале.

Улов оказывается обильным. Карьера Меркулова обеспечена.

Но и Меркулов не является исключением. Так же заявил себя и памятный Сергей Дегаев. Генерал Середа вместе с прокурором Добржинским ведет допрос арестованной Веры Фигнер. Во время допроса ей показывают тетрадку. — Вы узнаете этот почерк? Под текстом четкая подпись: Сергей Дегаев. Сомнений нет

ни малейших. Это—Дегаев. Он предает, сообщает правительству все, что знает о делах партии. Не только сколько-нибудь видные деятели, но и самые малозначительные лица разоблачались им от первого и до последнего. Все наличные силы партии были теперь как на ладони, и все лица, причастные к ней, отныне находились под стеклянным колпаком.

— Я была ошеломлена, — рассказывает В. Фигнер.— Дегаев? И это сделал Дегаев?! Множество нитей соединяло меня с ним. Он был тесно связан со многими товарищами. Он четыре года действовал на революционном поприще. Это колебало основу жизни,—веру в людей, ту веру, без которой революционер не может действовать.

— Но ведь Дегаев был только что арестован и чудом бежал от неминуемой казни?

Увы! Побег Дегаева был только мнимым. Его освободила сама же полиция, чтобы замаскировать его предательство.

Начав с измены, Дегаев сделался провокатором. Его задача—вовлекать в революционное движение десятки новых людей и тайно отдавать их в руки правительства.

— Испытать такую измену значило испытать ни с чем не сравнимое несчастье, уносящее моральную красоту людей, красоту революции и самой жизни. Мне хотелось умереть,—говорит в этом случае всегда бодрая В. Фигнер.

Правительственное золото создавало толпу шпионов. Уже тогда—рассказывает В. Фигнер—шпионы вербовались во всех слоях населения: генералы и баронессы, офицеры и адвокаты, журналисты и врачи, студенты и студентки. Были, увы, даже гимназистки, девочки 14 лет. В Симферополе, напр., в жандармском управлении вовлекли в шпионство и предлагали денежное вознаграждение

гимназисту — мальчику 11 лет. Черная книга русской монархии, раскрытая Клеточниковым, навсегда останется грязным пятном на нравах того времени. Молодые женщины употребляли чары красоты и молодости для вовлечения и предательства. Шпионы являлись инициаторами, организаторами и двигателями революционного дела. Рачковский в Петербурге, Рейнштейн в Москве, Забрамский в Киеве, вот герои правительственного лагеря, блиставшие на тогдашнем горизонте. Веледницкий, Пиотровский, Курицын, Меркулов и др.... Этим — говорит В. Фигнер—нам, революционерам, наносился глубочайший нравственный удар, который колебал веру в людей.

Нет, не случайна тут фигура Азефа! Уже и в далекие дни „розовой юности“ революционного движения выяснилось, что даже и крайний героизм революционеров-„одиночек“, борцов, не связанных органически с массами, влечет за собой процессы разложения.

Как отчетливо намечаются эти процессы уже со времени зарождения террора в эпоху „хождения в народ“:

Все чаще „ушедшие в народ“ приходят к выводу, что их мирная деятельность является простым самоуслаждением.—На последнем собрании в Саратове,—рассказывает Фигнер, — мы решили, что в деревню надо внести огонь и меч, аграрный и полицейский террор. Нужна физическая сила для защиты справедливости.

„Террор против царских слуг неизбежно влечет за собой цареубийство“. В ту деревню, где жили ушедшие в народ Вера и Евгения Фигнер, приехал А. К. Соловьев, чтоб посоветоваться о своем намерении убить императора.

Чем ярче сказывается полная невозможность легальной деятельности в народе,—тем чаще приходится браться

за оружие революционерам. Все растут проявления террора. Убит жандармский офицер Гейкинг, убит генерал Крапоткин в Харькове, убит шеф жандармов Мезенцов в Петербурге. Это еще партизанщина, но она близка к организации. Назревает твердое решение не сдаваться жандармам, и на каждую попытку ареста отвечать вооруженным сопротивлением. Все чаще проявляют себя мысли о цареубийстве. „Становилось странным бить слуг, творивших волю пославшего, и не трогать господина".

Предложение А. К. Соловьева взять на себя убийство царя, его просьба о помощи, обращенная к землевольцам, резко обнажила разногласия. При обсуждении вопроса, Г. В. Плеханов и М. Р. Попов резко высказываются против такого способа политической борьбы. Недоверие, какое существует между сторонниками соловьевского покушения и противниками его — так велико, что, излагая содержание просьбы Соловьева о помощи, сторонники террористической борьбы считают необходимым „скрыть имя Соловьева".

После горячей отповеди, полученной от Плеханова и Попова, стоящие на стороне соловьевского плана землевольцы заявляют, что „решение их все равно непоколебимо", и никакой отказ не отвратит готовящегося покушения. Это решение не считаться с мнением организации переполнило меру терпения.

— Если среди вас найдется Каракозов, — восклицает возмущенный М. Р. Попов, — то не явится ли и новый Комиссаров, который не пожелает считаться с вашим решением?

— Если этим Комиссаровым будешь ты, — то я и тебя убью! — запальчиво отвечает личный друг Попова, А. А. Квятковский.

После бурных споров выработано решение беспомощное и компромиссное. Как организация, „Земля и Воля“ помогать покушению отказывается, но членам организа-



М. Н. Тригони.

ции предоставляется персонально оказать помощь покушению в той мере, в какой они найдут нужным.

Револьвер Соловьеву доставлен землевольцами. Связь их с покушением налицо, и после неудачи соловьевского выстрела идет целая полоса арестов.—Как будут выступать на суде землевольцы, прикосновенные к делу? Ответственна ли партия „Земли и Воли“ за своих, хотя и „персонально“ выступавших, но имевших на это разрешение партии, сочленов?

Все ярче, все резче сталкиваются между собой два различных направления среди землевольцев. Для обсуждения разногласий решено созвать съезд в Воронеже. Но в это время наиболее энергичные сторонники террора, Николай Морозов, Александр Квятковский и др., образовали внутри общества „Земля и Воля“ обособленную группу, действующую втайне от остальных землевольцев. Эта „организация внутри организации“, тайное общество внутри тайного общества, проявляет огромную энергию. Они не только заранее заготовляют динамит и нитроглицерин для будущих актов, но еще до Воронежского съезда успевают устроить свой, обособленный съезд в Липецке. Сорганизовавшись и выработав устав, они успели обеспечить за собой сплоченное большинство на Воронежском съезде.

Общее число членов съезда, собравшегося в Воронеже—21 человек. Группа, успевшая сговориться в Липецке, включает 12 членов. Большинство на Воронежском съезде за ними обеспечено, и все их предложения полностью приняты. Целью организации является отныне четко заявленное низвержение самодержавного строя и водворение политических свобод. Средством деятельности объявляется вооруженная борьба с правительством.

В грустной и тягостной атмосфере протекает этот первый общероссийский съезд деятелей революции. Теоретические разногласия, личное раздражение и взаимное недоверие, скрытое существование в недрах одного тайного общества — другого, вдвойне тайного, общая настороженность, ввиду угрожающего конфликта,—так характеризует этот съезд его участница, Вера Фигнер.

Воронежский съезд прошел гораздо более бледно и вяло, чем это ожидалось, но разногласия все же наме-

тились настолько определенно, что раскол землевольцев стал неминуем. Сторонники старого направления, базирующиеся на крестьянстве, получили название общества „Черный Передел“. Новое течение приняло название „Народной Воли“.

— Даже название „Земли и Воли“ поделили, — говорит Николай Морозов:—Чернопередельцы взяли себе землю, а мы — волю.

По началу народовольцы, выдвинувшие на первый план борьбу с самодержавием, политическую борьбу, считаются еретиками. Как смеют они так явно и дерзновенно нарушать все установившиеся и бесспорные каноны и заветы революционной борьбы?

Возникает даже вопрос, имеют ли они право на звание народников, на то имя, какое принадлежало членам „Земли и Воли?“

— „В таком случае, мы примем название социал-демократы, — предлагает А. И. Желябов: — Этот термин в переводе на русский язык и обозначает социалистов-народников“.

Но большинство съезда высказалось против этого имени. Название социал-демократы признано для России непригодным и программе не соответствующим. Только один из основоположников Народной Воли, бывший чайковец Зунделевич, настаивает на том, что он социал-демократ. Он долго жил заграницей, в Германии, и он уверенно идет до конца в еретических утверждениях, что будущие пути России укажет не крестьянский мир, а рабочая пролетарская партия.

Не сразу удалось борцам революции наметить этот, единственно правильный путь. На пути от Меркулова и Окладского до Татарова и Азефа террор русских рево-

люционеров не раз пробовал пользоваться в борьбе оружием врага.

В самой цитадели самодержавия оказался, напр., в роли секретного агента знаменитого Третьего Отделения революционер Клеточников.

Клеточников пользовался „особым доверием“ у своего начальства. Ему открыт свободный доступ ко всем наиболее секретным делам и распоряжениям. Обосновавшись в „столе по обнаружению и преследованию государственных преступников“, Клеточников был посвящен во все политические розыски по всей России. Именно он шифровал и расшифровывал секретные телеграммы, составлял и переписывал секретные записки о результатах агентурных наблюдений.

Все эти данные Клеточников систематически передавал в распоряжение Комитета Народной Воли. На суде, во время известного „процесса 20-ти“, Клеточников рассказал немало яркого о Третьем Отделении, о том „отвратительном учреждении, которое развращает общество, заглушает все лучшие стороны человеческой культуры и жизни“.

— Я очутился среди шпионов,—говорит Клеточников на суде.—Вы не можете себе представить, что это за люди. Они готовы за деньги отца родного продать, выдумать на человека какую угодно небылицу, лишь бы написать донос и получить награду. Меня просто поразило громадное число ложных доносов. Я возьму громадный процент, если скажу, что из ста доносов один оказывается верным.

— Я действовал,—заявляет далее Клеточников,—глубоко убежденный, что все общество, вся благомыслящая Россия будут мне благодарны за то, что я подрывал деятельность Третьего Отделения.

Еще более яркий эпизод в этой сфере представляет собой попытка устроить в корпус жандармов в качестве агента революции Володю Дегаева.

В недрах жандармского корпуса вырастает в эту эпоху фигура Судейкина, жандармского подполковника, мечтающего путем террора обеспечить свою жандармскую карьеру. Попытка Володи Дегаева осталась безуспешна, победителем оказался Судейкин, использовавший брата Володи, Сергея Дегаева, в качестве своего агента.

Подполковник жандармского корпуса Георгий Порфирьевич Судейкин был „типичным порождением того политического и общественного разврата, который разъедает Россию под гнойным покровом самодержавия“,—характеризует этого „жандармского Наполеона“ „Вестник Народной Воли“.

Судейкин—человек, не лишенный кое-каких способностей и дарований,—очень высокого мнения о себе. Он мечтает о роли всероссийского диктатора и, уж во всяком случае, пост министра внутренних дел, по всей справедливости, должен принадлежать ему.

Но именно потому, что Судейкин человек способный,— в сферах его оттирают и держат в черном теле.

Судейкин мечтает добиться свидания с царем, получить аудиенцию, хотя бы на несколько минут. Он сумеет нарисовать Александру III всю картину положения. Он объяснит царю, какие бездарные ничтожества его окружают, до чего незаменим для трона он, умный и талантливый Судейкин. Только бы ему добиться нескольких минут аудиенции у царя, и тогда его, Судейкинская, карьера будет обеспечена навсегда.

Но, как будто разгадав мечты своего подчиненного, министр внутренних дел Толстой не только не допускает

Судейкина до высочайшего приема, но и упорно обходит его чинами. Судейкин оказывает чудеса охранной службы, таланты жандармские проявляет исключительные, но граф Толстой выдает ему только денежные награды, сознательно отстраняет его от получения высших чинов, которые могли бы облегчить Судейкину исполнение его мечты, получение аудиенции у Александра III.

Жандармский честолюбец напряженно ищет обходных путей. При помощи незадолго до того соблазненного и превращенного в предателя революционера С. Дегаева, Судейкин решает встать „на революционный путь". Он, Судейкин, сам возьмется за организацию отрядов террористов. По его указаниям будут убиты и министр внутренних дел граф Толстой, и великий князь Владимир... Он, Судейкин, заблаговременно уйдет в отставку, и именно к этому времени, к моменту, как только правительство останется без него, пусть начнут взрываться подготовленные им при помощи Дегаева бомбы.

О, конечно же, после этого его немедленно призовут. Без него не обойдутся. И тогда именно к нему перейдет желанный портфель министра, который освободится после убийства Толстого. Но это еще не все. Одновременно с этим Судейкин, как организатор террора, решает через Дегаева обеспечить себе еще и влияние в Исполнительном Комитете, среди революционеров.

Ему, Судейкину, будет принадлежать вся власть, вся сила и в подпольной, и в надпольной России. Царь со своими министрами, и революционеры со всеми их комитетами, все одинаково станут послушными марионетками в руках обиженного по службе Судейкина. Все одинаково будут с этих пор творить его, Судейкина, державную волю.

Планы Судейкина, как известно, уже близились к осуществлению. Захваченный в жандармские сети, превращенный в предателя, Сергей Дегаев, на котором строит Судейкин всю свою систему террора, оказался очень полезным сотрудником. Но разоблаченный революционерами,—предатель успел открыть планы Судейкина Исполнительному Комитету Народной Воли.

— Я предатель,—кается Дегаев, описывая все подробности своего падения:—Предоставляю Исполнительному Комитету подвергнуть меня заслуженной казни, или дозволить мне искупить свое преступление какой-либо услугой делу партии...

Обсудив это покаяние, Исполнительный Комитет даровал Дегаеву жизнь, обязав его собственноручно убить Судейкина...

Казнь эта выполняется под контролем Комитета. Судейкин продолжает лелеять свои террористические планы. Этот жандармский гений совершенно уверен в Дегаеве, связанном с ним длинной цепью предательств. Но осторожность в жандармском ремесле никогда не мешает. В качестве „своего человека“ часто бывая в гостях у Дегаева, Судейкин „на всякий случай“ определяет на должность слуги к Дегаеву шпиона, живущего по подложному паспорту, Константина Александрова. При такой предосторожности бояться нечего, и интимные визиты жандармского подполковника Судейкина к „революционеру“ Дегаеву представляются совершенно безопасными. Можно спокойно и уверенно за бокалом вина обсудить все подробности того жандармского террора, какой в ближайшем будущем подчинит Судейкину запуганного Александра III и сделает Судейкина неограниченным диктатором всея России.

Дело, на которое потрачено так много жандармского вдохновения и охранной гениальности,—срывается пошло и плоско. Кто же мог предположить, что этот слюнтяй Дегаев отправится с покаянием в Исполнительный Комитет? Кто же мог думать, что, поплакав, сколько полагалось, в жилеты жандармов, он отправился лить очередные слезы в жилеты революционеров. В один из очередных визитов своих в квартиру Дегаева (дом 8 по Гончарной улице в Петербурге), в ту квартиру, где он свой человек и желанный гость,—Судейкин, вместо обычной выпивки и закуски, застает необычную картину. Нет дома хозяйки, жены Дегаева. Куда-то отослан пристроенный на роль слуги шпион Константин Александров. Судейкина встречает один только Дегаев.

— Вы что же, батенька, в одиночестве сегодня? Соломенным вдовцом, дорогой мой,—говорит, улыбаясь, гость, весело потирая руки.

Но Дегаев не один. Из соседней комнаты неожиданно появляются командированные Исполнительным Комитетом ему в помощь Стародворский и Конашевич. У каждого из них в руке заблаговременно приготовленные железные полупудовые ломики около аршина длиною.

Для выполнения смертного приговора квартира Дегаева вполне удобна. Как заблаговременно проверял Стародворский, „в задней комнате можно стрелять спокойно", без риска быть услышанным соседями. Но лишняя предосторожность никогда не мешает.—Лучше все же без выстрелов. Железным ломом по голове,—это гораздо конспиративнее.

Судейкин оказывается „живучий". Удар ломом по голове, и другой, и третий, но Судейкин снова и снова подымается, и дико визжит, и мечется по всей квартире.

Он бежит в кухню, оттуда в уборную. Но уйти некуда. Еще несколько ударов железным ломом. И вот уже мертвое тело „диктатора России“ беспомощно валяется в уборной. Квартира заперта на ключ, и ключ собственноручно заброшен Стародворским где-то на Невском проспекте.

Дегаеву во исполнение обещания дана возможность скрыться за границу.

* * *

Внешний романтизм террора, каким насыщены действия революционера-одиночки, свойствен не только тем далеким дням. Не меньше размаха, внешней эффектности и авантюризма дает и биография нашего современника Б. В. Савинкова, чуть не во все эпохи его жизни.

Вот Б. В. Савинков едет в Севастополь с партийным поручением убить адмирала Чухнина. Это происходит в те дни, когда партия с.-р., по случаю открытия первой Гос. Думы, постановила террор временно прекратить. Но Савинков об этом постановлении не знает. Узнает он об этом только впоследствии, из газет, которые прочтет, уже находясь в тюрьме.

По пути в Севастополь Савинков заезжает в Харьков, где его ждут члены его отряда. Все они совещаются, распределяют роли, подготовляют динамит. Давно уже осведомленное охранное отделение следит за каждым их шагом. Не подозревая об этом, члены савинковского отряда отправляются в Севастополь.

14-го мая, в день коронации, они решили начать дело наблюдения за Чухниным. Никто из них не знает, что на этот же день, 14 мая, местный севастопольский комитет партии эс-эров со своей стороны назначил покуше-

ние на коменданта севастопольской крепости, генерала Неплюева.

Пред нами трудно объяснимая путаница. Савинков не знал о решении партии прекратить террор. Но севастопольский комитет эс-эров—тот не только знал, но и принимал участие в решении вопроса о прекращении террора. Представитель севастопольского комитета на общепартийном совещании сам же голосовал за прекращение. Откуда же, в дополнение к савинковскому, взялось еще и это местное, севастопольское покушение?

Ни савинковский отряд, ни севастопольский — ничего не знают, ни в чем разобраться не могут. Хорошо разбирается и как следует осведомлена одна только охранка, спокойно и планомерно арестующая всех прикосновенных к делу лиц.

На этот раз арестованы не только все участники севастопольского покушения и члены савинковского отряда, но и сам Савинков.

Б. В. Савинков заключен в крепость. Вместе со всеми арестованными по делу, он предан военному суду для суждения по законам военного времени.

Суд назначен на 18 мая. Заранее известно, что приговор — повешение — будет приведен в исполнение на завтра после суда, 19 мая. Но травленый волк, Б. В. Савинков, еще не считает положение безнадежным. Еще есть порох в пороховницах.

Арестованные вместе с ним рядовые участники покушения—тем надо думать только о смягчении приговора, о каторге, вместо веревочной петли. Но сам Савинков, его судьба иная. Он в огне не горит, и в воде не тонет.

— Выкрутимся!

Поставить на суд дело в назначенный срок властям не удалось. Один из участников севастопольского покушения, Николай Макаров, бросивший бомбу в Неплюева,— несовершеннолетний. Ему только 16 лет, и решение вопроса о степени разумения малолетнего требует формальностей.

Дело отложено. В Севастополь успели приехать не только мать Савинкова и его жена, но и один из членов боевой организации, Зильберберг. Крепость охраняет Белостокский полк, и через местных товарищей Зильберберг ищет в этом полку сочувствующих революции солдат, которые были бы готовы помочь побегу.

Дело удается наладить. Сношения Савинкова с волей организованы. Удалось уже добиться и подбора караула из своих людей. Но Белостокский полк по случайным причинам оказывается вдруг снят с несения караульной службы и заменен другим, Литовским полком.

Нужно налаживать дело заново. С помощью подкупленного жандарма, Савинков устраивает в тюрьме совещание с остальными членами арестованного боевого отряда. В виду новых тягот положения, изо всех четырех можно будет бежать только одному. Как быть, кому именно бежать?

— Кому бежать? Конечно тебе,—отвечают на вопрос Савинкова товарищи.

Этого именно ответа он, конечно, и ждал, но он запальчиво спорит.

„Я возражал“,—рассказывает Савинков,—„я указывал на справедливость жребия, я сказал, что охотно уступлю свое право. Но все трое товарищей ответили, что по их мнению должен бежать именно я. Я согласился“.

Побег разыгран, как по нотам. В деле участвуют и жена Савинкова, и член боевой организации, Зильберберг. Организацию побега берет на себя вольноопределяющийся Сулятицкий, член симферопольского комитета с.-р.

Сулятицкий, дождавшись назначения на пост разводящего при карауле крепости, по началу делает попытку освободить всю гауптвахту. Он принес с собой полный подсумок конфект, смешанных с сонными порошками. Предполагается угостить этими конфектами офицеров и часовых и, когда те заснут, открыть двери всех камер.

Порошки морфия для конфект „рекомендованы и дозированы партийным врачом". Быть может, поэтому—результаты оказываются неожиданными.

Конфекты розданы и съедены караулом с большим аппетитом, но действия они, увы, никакого не принесли. „Я стал ждать, пока солдаты уснут",—рассказывает Савинков:—„Я не спал всю ночь, но и часовые тоже не спали".

Нужны другие способы. Энергичный Сулятицкий, вместо хитроумных и романтических планов, решает действовать напролом. Оказавшись в следующий раз во главе караула, Сулятицкий является ночью в камеру Савинкова.—Бежим, что ли?

Савинков, с полотенцем в руках, под конвоем Сулятицкого, отправляется по длинному коридору к дверям умывальной.

— Мыться идет. Говорит—болен,—небрежно объясняет Сулятицкий стоящим на пути полусонным часовым.

В умывальной Савинков наспех, в темноте, срезает усы, надевает приготовленную заранее солдатскую рубаху и фуражку.

— А сапоги у вас есть?—деловито спрашивает Сулятицкий. Высоких солдатских сапог не имеется, и их приходится утащить у одного из арестованных солдат, спящих в соседней камере.

Преображенный Савинков, вместе с Сулятицким, не спеша, медленной походкой направляются к дверям тюрьмы.

— Спишь, что ли, ворона?!—кричит Сулятицкий часовому.—Спать потом будешь, открой!

Часовой открыл дверь. Сулятицкий, на случай встречи с патрулем, сует в руку Савинкову отпускной билет на имя солдата Литовскаго полка. На улице уже ждут поставленные Зильбербергом люди.

... С утра вся полиция города на ногах. Не только по всем улицам, но и за городом ходят дозоры и патрули. Но Б. В. Савинков в сыром и темном подвале матроса Босенко уже составляет для печати особую прокламацию:

„По постановлению боевой организации освобожден из-под стражи содержавшийся на главной крепостной гауптвахте член партии социалистов-революционеров Борис Викторович Савинков“. Вместо пометки „Дан в городе Севастополе“, под текстом этого документа обозначено скромно: „Севастополь, 17 июля 1906“.

На всех улицах города патрули и дозоры, но небольшая группа парней в фабричных рубахах и картузах успевает пробраться за город без малейшей помехи. Это переодетые Савинков, Сулятицкий и Зильберберг через горы и степь идут на хутор немецкого колониста. Здесь их уже давно ждут. Отдохнув на хуторе, группа добывает для прогулки одномачтовый бот под казенным флагом, и под самым носом у стоящей здесь же эскадры все едут в Констанцу.

В свое время, уже через год, и Сулятицкий и Зильберберг будут повешены по делу об убийстве петербургского градоначальника генерала фон-дер-Лауница. Оба проявили перед смертью мужество и спокойствие, необычное даже для умеющих умирать революционеров.

Зильберберг, напр., спал днем и бодрствовал ночью, чтоб не быть застигнутым врасплох врагами, и, когда поведут на казнь, не проявить со сна и тени слабости. Все время до самого последняго момента своей жизни, он усердно работает над решением математической задачи,—деление угла на три равные части, решение которой он просил передать в университет. В последние часы перед казнью он заботливо переписал свой труд начисто.

В предсмертном письме Зильберберг пишет жене: „Я отказался видеть девочку (дочь)... Для каждого человека есть предел его духовных страданий. Я могу видет мать. С большим трудом я мог бы видеть тебя. Но ее... Это выше моих сил, здесь мой предел. Я не могу. Я не могу. Я знаю, что я, у которого ни один человек, кроме тебя, не видел слез, увидев ее, заплачу как ребенок при жандармах".

„К предстоящему концу я отношусь спокойно"—пишет перед казнью Зильберберг жене, посылая ей засушенные лепестки, сорванные им в тюремном дворе:—„Мое последнее и страстное желание, чтоб когда вырастет наша девочка, ты рассказала ей, как я любил тебя, как я любил ее. Сказала бы, что я расстался с этой великой любовью и с жизнью—в борьбе против горя и страдания других. Прощай, друг, прощай, милая, прощай, любимая"...

* * *

В коллекции документов в „Воспоминаниях“ Савинкова впервые напечатано очень яркое письмо Г. А. Гершуни, этого „вождя партии и шефа террора“, присланное им из Шлиссельбурга в 1905-м году.

Какую странную путаницу понятий заключает в себе это письмо Гершуни! Моментами видна полная ясность взгляда в оценке положения. „Россия сделала гигантский скачек вперед и сразу очутилась не рядом с Европой, но оказалась впереди ее“,—пишет Гершуни, высказывая свой восторг по поводу „изумительной по грандиозности и стройности забастовки“, по поводу доказанных ею „революционности и мужества русского пролетариата“. „Все это не может не быть чревато сложнейшими благоприятными последствиями для всего мирового, трудового народа“,—предсказывает Г. А. Гершуни:—„России повидимому, в 20 веке суждено сыграть роль Франции 19 века!“

„Страна подымается, рвет рабские оковы!“—пишет товарищам Гершуни из Шлиссельбурга:—„Сквозь мрак, окутывающий нашу крепость, мы видим отблески зари восходящей над Россией свободы. Ужас охватывает душу, при мысли о страшной цене, которой куплена эта заря, о чудовищных тяжких жертвах, понесенных народом. Вечным позором да ляжет на продажные головы виновных ответственность за эти жертвы! Да будут эти жертвы вечным укором тем, кто не препятствовал шайке куртизанок и авантюристов терзать исстрадавшуюся и измученную страну“.

Г. А. Гершуни, как будто, четко и прозорливо видит будущее: „Крупнейшим счастливым результатом будет,

как мне кажется, что России удастся миновать пошлый период мещанского довольства, охватывавший мертвящей петлей европейские страны, переживавшие революционный период“.

Но, наряду с этой, оправданной событиями прозорливостью, какую неправильную, в наши дни кажущуюся насмешливой, оценку сил партии с.-р. дает Гершуни. Для него именно социалисты-революционеры являются главной, чуть не единственной, движущей силой. „Какое счастье выпало на долю нашей партии“,—восклицает он: „Если только вожди окажутся на высоте своей задачи, партия с.-р. может занять в ближайшем будущем положение, которому позавидуют все европейские партии!

Особенно нежно говорит Гершуни в письме своем о боевой организиции с.-р. Ее он олицетворяет, говорит о ней, как о живом существе:—Милая! Как она, вероятно, изменилась! Из прежней, скромненькой девочки, она, мне рисуется, превратилась в пышную красавицу с высоко поднятой головой, победоносно и гордо шествующей сквозь толпу покорных поклонников! Как-то она, боевая организация, встретит своих друзей детства...

Как горько ошибается этот „друг детства“ в характере этой „красавицы“. Что сказал бы, что подумал бы экзальтированный Гершуни, если б знал правду о прочной, многолетней и хорошо оплаченной интимной связи нежно любимой им красавицы с охранкой.

* * *

Как ни долго длился маскарад Азефа, но пришло все же и для него время разоблачений.

Те главы „Воспоминаний“, какие посвящены истории разоблачения Азефа, сам Савинков называет „самыми печальными“.

Печального здесь, и вправду, очень много. Надо отдать справедливость Савинкову, он не щадит себя и не затушевывает своей роли в этом деле. С 1902 года и до 1908 дождем сыплются с разных сторон всяческие указания на то, что Азеф—предатель. Но все эти сообщения так и „не заронили в нем и тени подозрений". В этом повинны, как известно, и все остальные лидеры с.-р-ов. Но только один Савинков имеет мужество открыто и прямо заявить: „Я не знал, чем объяснить все эти слухи и указания, но моя любовь и уважение к Азефу ими поколеблены не были. В моих глазах он был даровитым и опытным революционером, и твердым, и решительным человеком. Так думали и Мих. Гоц, и Гершуни, и Карпович, и Каляев, и Сазонов, и Вноровский, и многие, многие еще".

Во имя справедливости надо отметить, что не все так думали об Азефе.

Доказательства этого можно найти в тех же „Воспоминаниях" Савинкова. Когда в Глазго Савинков и Карпович, сблизившись с матросами, обдумывали и обсуждали с ними планы цареубийства, прозвучало характерное предостерегающее слово.

Предполагалось заблаговременно, пред отбытием крейсера в Россию, поместить на борту кого-нибудь из членов боевой организации. До дня царского смотра он должен просидеть в отверстии, в отсеке руля в румпельном отделении. „Сидя на корточках и полулежа, там можно было прожить несколько дней".

Роль исполнителя имелось в виду поручить матросу Авдееву. Этот высокий, загорелый, простоватый матрос оказывается несравненно более чуток, чем Савинков и Карпович.

Когда, в разгар подготовки дела, в Глазго приезжает Азеф, матрос Авдеев с первой же встречи с Азефом резко проявляет недоверие и хмурится.

— Что с вами?—спрашивает, отведя его в сторону, Савинков.

— Кто этот толстый?

— Это товарищ.

„Авдеев нахмурился еще больше.—Какое неприятное лицо!

„Тогда я сказал:

— Если вы верите мне, верьте ему. Он мой товарищ и друг".

Авдеев, пересиливая себя, протягивает руку Савинкову.—Не сердитесь, я не хотел вас обидеть. Не понравился он мне.

Самому Б. В. Савинкову и его сотоварищам Азеф неизменно „нравился". Даже и после оффициального заявления Бурцева о предательствах Азефа,—ЦК с.-р-ов приступает не к суду над Азефом, а, напротив того, к суду над Бурцевым, которого обвиняют за „распространение ложных слухов", позорящих главу боевой организации.

Судьями избраны Г. А. Лопатин, П. А. Крапоткин и В. Н. Фигнер.

Б. Савинков относился резко отрицательно к самой идее суда над Бурцевым.—Это—полагал он,—не прекратит, а только усилит нежелательные разговоры. Самый факт суда — есть оскорбление. Боевая организация не может унижаться до разговоров, когда вопрос идет об ее чести!

В. М. Чернов держится особого, не столь скорострельного, но столь же оригинального мнения.—Бурцев будет

раздавлен, — предсказывает он: — Ему придется каяться на суде.

Любопытна позиция, занятая самим Азефом. С подчеркнутым равнодушием он говорит Савинкову:

— Как это гадко! Ты слышал, что говорит Бурцев? Ты слышал,—будет суд...

В беседе с Азефом на эти темы Савинков оказывается необычайно, как будто нарочно, наивен. Взамен предстоящего суда,—он предлагает Азефу поехать вместе в Россию и возобновить террористическую деятельность. Это и будет, по его мнению, лучшим способом „защитить честь организации, Азефа и мою“.

— Мы поедем и будем все арестованы,—скептически отвечает Азеф.

Но, по мнению Савинкова, именно „процесс и несколько казней и должны реабилитировать честь боевой организации“.

Такой способ, однако, Азефу вовсе не нравится. Он играет в благородство.—Нет, этого мало!—говорит он:— Нужен суд надо мной. Только на таком суде откроется нелепость всех этих подозрений.

Но Савинков остается на прежней позиции.—Позволь мне попытаться убедить Бурцева отказаться от суда,— просит он Азефа. И когда Азеф благосклонно соглашается на это, Савинков немедленно отправляется к Бурцеву.—Пусть тот возьмет назад свои обвинения.

Просьба воистину своеобразна. Убедить Бурцева в невиновности Азефа никак невозможно. Среди Бурцевских документов имеются не только показания о роли Азефа, бывшего охранника Бакая, но и подтверждения этого, полученные от бывшего директора департамента полиции, Лопухина.

Источники серьезны, показания документированы. Как можно отказаться от обвинений?!

И вот начались заседания суда чести. Представителями от партии, выступающими на защиту Азефа и пылко требующими осуждения Бурцева,—являются трое: Савинков, Чернов и Натансон.

Все три представители партии эс-эров произносят пылкие речи, прославляют Азефа, настойчиво уличают Бурцева в преступном легкомыслии, с которым он отнесся к репутации заслуженнейшего революционера Но уже с первого заседания суд почувствовал жуткую правду, ясно увидел систему провокации.

— Как ваше мнение, Герман Александрович? — спрашивает у Лопатина Савинков.

— Да, на основании таких улик убивают! — отвечает еще до допроса свидетелей. Лопатин.

Свидетельские показания только усиливают впечатление. Дело — трагически ясно, но представители эс-эров и теперь проявляют слепоту, совершенно изумительную.

„Посоветовавшись втроем, Чернов, Натансон и я—пишет в своих воспоминаниях Б. В. Савинков,—решили, в случае оправдательного приговора Бурцеву, — итти на прямой конфликт с судом. Еще ни в малой степени мы не подозревали Азефа. Все обвинения казались нам не только печальным, нелепым и оскорбительным недоразумением, но и лишенными всякого основания и даже правдоподобия".

Сам Азеф во время суда живет на юге Франции. Он пишет в эти дни Савинкову длинные письма, в которых не скрывает своей тревоги. Объяснение этой тревоги Савинков видит в его „оскорбленном чувстве собствен-

ного достоинства". В разговоре с Савинковым во время приезда в Париж Азеф держится тона обиженного:

— По моему мнению ты сам должен явиться на суд, чтобы лично опровергать Бурцева и защищать свою честь,—говорит Савинков.

— Нет! Я не могу. У меня нет сил. Я думал, вы, как товарищи, защитите меня...—отвечает Азеф.

И вдруг, не выдержав принятого было тона утомленного и обиженного человека, „Азеф рассмеялся". Как будто сам Мефистофель, зловещий дьявол показался на мгновение из-под той маски революционера, какую долгие годы носит этот человек.

„Так ты говоришь,—спрашивает Азеф,—что Крапоткин подозревает двойную игру? Ха-ха! Да, конечно... Не очень-то вы умны, что то нельзя было вас обмануть.

Но, на миг появившаяся, сразу же исчезает эта дьявольская гримаса, этот, до предела издевательский, смех. Азеф снова прежний, обычный. Вождь, лидер, пламенный террорист, убежденнейший революционер, которого утомляют какими-то глупыми подозрениями.

„Уходя, он поцеловал меня...—Знаешь, эта история меня совсем убьет",—говорит он Савинкову, прощаясь.

„Это свидание впервые зародило во мне смутные подозрения",—указывает Савинков.

Но о „смутных подозрениях" говорить поздно. Количество фактов, бесспорных, очевидных, потрясающих,—растет с каждым днем.

А. А. Аргунов, тот самый, кому в свое время были поручены справки о предательстве члена ЦК Татарова, сообщает новые известия из Петербурга. Оказывается, Азеф, по секрету от партии, успел съездить в Петербург. Ночью он заявился на квартиру Лопухина и именем своих

детей умолял его не губить, взять назад его слова, отречься от тех разоблачительных показаний, какие он дал Бурцеву.

— Да, может, это не Азеф был? Тот ли это?!

Тот, тот самый! „Толстый, сутуловатый, лицо одутловатое, шея короткая, нос приплюснутый, скулы выдаются, губы очень толстые“... „В этом портрете мы узнали Азефа“,—говорит Савинков.

Во время визита Аргунова—Лопухин рассказал ему не только о приезде Азефа, но еще и все подробности многолетнего, систематического, профессионального предательства, каким занимался Азеф. Бесконечно, невообразимо длинен список выданных, преданных, посланных им на каторгу и на виселицу сотоварищей. О, департамент полиции недаром платит Азефу 14 тысяч в год!

Вопрос об Азефе давно уже ясен последней, подавляющей ясностью. Но и теперь все же ЦК партии эс-эров не может взять на себя решения вопроса о том как быть дальше.

В декабре 1908-го года устраивается особое собрание ЦК с.-р. при участии целого ряда приглашенных. На обсуждение поставлен вопрос: „Возможно ли убить Азефа немедленно, не приступая к допросу, или необходимо произвести дополнительные расследования и в зависимости от результатов решить судьбу Азефа?“

После долгих и бурных прений вынесена резолюция, воистину поразительная: „Расследование об Азефе продолжать, подготовляя одновременно его убийство, при условии наименьших для партии потерь“. Сам Игнатий Лойола не мог бы придумать ничего более „хитрого“. Сам Поприщин не изобрел бы ничего более бессмысленного.

Но резолюция выполняется свято.

Все тот же Аргунов выезжает в Италию, чтобы нанять там „уединенную виллу". Савинков и Чернов должны под каким-либо предлогом заманить, привести туда Азефа и убить его там.

План, и сам по себе,—ребяческий. Азеф вовсе не такой наивный мальчик, чтобы в этой атмосфере суда над ним дать увлечь себя в такую примитивную ловушку. Но трагикомедия, продиктованная резолюцией ЦК, на этом не кончается. Одновременно с этим наймом виллы для убийства—партия продолжает процедуру следствия и суда над Азефом.

Как весело смеялся, должно быть, наедине сам с собой старый провокатор Азеф! Очень скоро, впрочем, вся эта история Азефу надоела. После нового визита к нему на квартиру Савинкова и Чернова с длинными и нудными разговорами—Азеф бежит. Он скрывается от них навсегда, послав на прощание по адресу ЦК резкое—и, конечно же, возмущенное—письмо.

Самый визит Савинкова и Чернова на квартиру к Азефу,—ненужный от начала и до конца, ибо предательство и без того ясно,—все задаваемые ими вопросы и ответы Азефа до жути напоминают картину допроса другого провокатора, убитого Татарова.

— Нам известно,—говорят пришедшие,—что 11-го ноября ты был в Петербурге у Лопухина.

— Я у Лопухина не был.—Где же ты был?—Я был в Берлине, в гостинице „Керчь".—Нам известно, что ты в „Керчи" не был.

Азеф засмеялся.

— Смешно, я там был!—Ты там не был.—Я был. Впрочем, что это за разговор?!

Азеф выпрямился и поднял голову:—Мое прошлое отвечает за меня.

Разговор продолжается все в том же тоне.—Ты сказал Лопухину.—Я не говорил Лопухину.—Я член Центрального Комитета!—гордо заявляет вдруг Азеф.

Но слова никому не нужны. Картина ясна до деталей.

Азеф молча взволнованно ходит по комнате.

— Мы предлагаем тебе условия, — говорит, наконец, Чернов:—Расскажи откровенно о своих сношениях с полицией. Нам нет нужды губить твою семью. Дегаев и сейчас живет в Америке.

Азеф продолжает ходить взад и вперед, курит папиросу за папиросой и молчит.

— Принять предложение в твоих интересах,—настаивает Чернов.

Азеф не отвечает. Молчание. Он долго ходит по комнате, потом останавливается, смотрит прямо в глаза Чернову и говорит дрожащим голосом:

— Виктор! Мы жили столько лет душа в душу. Мы работали вместе. Ты меня знаешь... Как мог ты ко мне притти с таким... с таким гадким подозрением?!

Но сроки давно истекли. Уже и Савинкову с Черновым с бесспорной, безусловной ясностью известно, что вот этот самый человек, этот старый товарищ, друг, „руководитель и вождь", долгие годы состоит на службе у охранки, старательно предает и продает своих сотоварищей. На этот раз лирические излияния делу не помогут.

— Мы даем тебе срок (откровенно рассказать о сношениях с полицией) завтра до 12 часов. Ты можешь обдумать наше предложение,—говорит Чернов.

— Мне нечего думать,—отвечает Азеф.

— Завтра в 12 часов мы будем считать себя свободными от всех обязательств, — говорит на прощание Савинков.

В ту же ночь, как только Савинков с Черновым ушли, Азеф вслед за ними уходит из дому вместе со своей женой и скрывается.

Хотели ли они, члены Ц. К., чтобы Азеф скрылся? По всей видимости, да. Трудно иначе рассматривать все поведение ЦК в этом деле, трудно иначе понять и угрозу, сказанную на прощание Савинковым („Завтра, в 12, мы будем считать себя свободными"), угрозу по адресу человека, за которым даже не попытались устроить той слежки, какая в свое время была устроена за Татаровым.

Так или иначе,—Азеф бежал.

„Ваш приход в мою квартиру,—заявляет Азеф в письме, присланном в ЦК,—предъявление вами мне какого-то гнусного ультиматума без суда надо мной, без дачи мне возможности защищаться против гнусного обвинения,—возмутительны и противоречат всем понятиям и представлениям революционной чести и этики".

Вот они, итоги: к „революционной чести", к этике взывает из безопасного далека этот старый провокатор:

„Оскорбление, какое нанесено мне вами, знайте, не прощается и не забывается. Я счастлив, что чувствую силы с вами, господа, не считаться".

Как ни безмерно отвратительна позиция Азефа, возмущающегося в письме к ЦК „смрадом и грязью, которой его забросали", есть все же в этом письме его утверждения, на которые он в праве. Это те слова, в которых он говорит, что это он, он, Азеф, — „один из основателей партии с.-р.". Это он „вынес на своих

плечах всю ее работу в разные периоды". Это, увы, правда, и вовсе не случайная правда!

Партия, строившая свое дело не на массовой основе, а на личных выступлениях, на индивидуальном терроре, не могла уже и в те годы не докатиться до процесса Азефа, как не могла в наши дни не докатиться до процесса Савинкова.

Под свежим впечатлением от разоблачения Азефа и ЦК с.-р. как будто понял, что то, что произошло,— не случайно. „Центральный Комитет считает, — сказано в особом заявлении по делу Азефа, — что главная доля ответственности за допущение провокации всей тяжестью ложится на него, как на руководителя партийной жизни".

Но эти покаянные настроения в партии и в ЦК с.-р. скоро выветрились. К тому времени, когда премьер-министр Столыпин в своей речи в Государственной Думе, отвечая на запрос о провокации, дал официальную справку: „в число сотрудников департамента полиции Азеф был принят еще 1892 году", т.-е. за 16 лет до его разоблачения,—к этому времени партия с.-р. снова стала на прежний путь, фатально ведший ее ранее к Азефовским, а потом к Савинковским итогам.

Ярко и выпукло обрисован этот путь в „Воспоминаниях" Б. В. Савинкова. Но поучительности нарисованной им картины сам автор так и не заметил.

„Я решил взять на себя ответственность и восстановить боевую организацию",—заявляет Савинков в заключение своих высоко-поучительных мемуаров до-революционных дней.—„Центральный Комитет выразил мне доверие. Я считал, что честь террора требует возобновления его после дела Азефа. Возобновленный террор,—уверяет

Савинков,—смывал пятно с боевой организации, с живых и умерших ее членов."

„Я стал готовиться к новой террористической кампании",—такой фразой эффектно, „под занавес", заканчивает Савинков свои мемуары.

* * *

Мы видели уже немало примеров того, как неизбежно вырождается террор. Достаточно ограничиться даже одними только „Воспоминаниями" Савинкова, ярого защитника и апологета террора, чтобы число этих примеров можно было увеличить еще и еще.

Савинков заграницей. Ко дню назначенного над ним в Севастополе суда он успевает прислать из Базеля письмо „его превосходительству генералу Неплюеву". В письме этом Савинков считает нужным „с совершенным уважением" засвидетельствовать, что следствие, от которого он бежал, ведется неправильно и бездарно, что оставшиеся под стражей в качестве его соучастников арестованные—невинны и никакого отношения к делу не имеют.

Старый период ликвидирован. Время браться за новые дела. Выбор их зависит отнюдь не от тех или иных решений партии. Внутренней спайки и в помине нет. Руководят Савинковым только его личные настроения, жажда авантюр, азарта, приключений во что бы то ни стало.

Когда Савинков рассказывает Гоцу, что постановление совета партии о прекращении террора стало ему известно только в тюрьме, собеседник возмущается:

— Это позор! — говорит Гоц: — Вам должны были сообщить заранее. Вы поехали в Севастополь, не имея на это права.

— Если бы я и знал о постановлении совета,—отвечает Савинков,—я все-таки, вероятно, поехал бы в Севастополь.

Дело не в решениях партии, а только в личных настроениях. Процесс вырождения дошел до того, что Гоца даже не удивляет эта анархическая позиция.

Это, и правда, неудивительно. Уже и в то время, когда Савинков налаживал покушение на Дубасова, на Дурново, на Чухнина и т. д., все явственнее выступала идеология террора, как чего-то самоцельного, некоей „вещи в себе". Так, в беседе с представителем максималистов, Соколовым (с которым Савинкова познакомил Азеф), Савинков предлагает ему объединиться для совместной работы.

— Скажите, почему мы не можем работать вместе?— убеждает Савинков:—Не вижу препятствий к этому. Мне все равно, максималист вы, анархист, или социалист-революционер. Мы оба—террористы. Не можем мы расходится из-за вопроса о социализации фабрик и заводов.

Но Соколов, герой экспроприации на Фонарном пер., от предложенного Савинковым альянса отказывается.

Соколов махнул рукой:

— Мои не согласятся ни за что. Террор был бы сильнее, работай мы вместе, но теперь это невозможно. Вы нам объявили войну.

— Не мы, а партия социалистов-революционеров, — дословно отвечает Борис Савинков.

Партия может решать и делать, что ей угодно. Боевой комитет считаться с этим не собирается.

Дело террора становится случайным от первого и до последнего шага. Как много примеров этого дают „Воспоминания" Б. Савинкова!

Наблюдения за Дурново тянутся уже несколько месяцев, но результатов все же не дают. Один из участников покушения, „Адмирал", выступавший здесь в роли извозчика, согласен довольствоваться малым.—Не дается нам

Дурново!—говорит он:—Не поймешь, где он ездит. А вот градоначальника, Лауница, я много раз видел. Нужно Лауница убить.

Беречь Лауница никто не собирается, и „Адмирал“ свою идею осуществляет благополучно. Лауниц убит.

Это не единичная „случайность“, какая считается нормальной и естественной в горячечной атмосфере террора. Их много. Группа наблюдателей, как оказывается, ошиблась. Вместо министра внутренних дел Дурново, — они случайно выследили „напоминавшего его лицом“ министра Акимова.

Тогда,—чтоб работа даром не пропадала,—эта группа предложила произвести покушение на Акимова. У террора своя логика. Покушение на Акимова состоялось, и если оно по случайным причинам и не удалось, то это не помешало очередной партии „рядовых“ после очередного провала отправиться на каторгу.

Все ярче видно жуткое вырождение жуткой идеи террора. Неправильный по существу, направленный против отдельных лиц, а вовсе не против системы самодержавного гнета,—террор перестает делать различие и между лицами. Дурново ли, Акимов ли, какая разница. Они ведь, кстати, „и лицом друг на друга похожи“. И кажется не случайным, что великосветская участница организации, некая Татьяна Леонтьева, которая надеялась подготовить для террористов удобный случай на балу для убийства царя, примкнув к максималистам, проследила в каком-то курорте некоего старика, и выстрелила в него, „по ошибке приняв его за Дурново“. Старичек, мирный негоциант, пострадал по недоразумению, и во время суда над Леонтьевой западные буржуа много и долго ахают по поводу этих странных русских политиков, которые как будто даже

не интересуются, в кого именно стреляют. Им бы только стрелять, а в кого—это уже не важно.

Все дело террора зависит не от тех или иных решений, принятых партией, а от случайных настроений участников. Б. В. Савинков рассказывает, напр., о том, как, наблюдая за Треповым, петербургский отдел боевой организации случайно установил день, час и маршрут выезда министра юстиции Муравьева.—Не плохо и Муравьева прикончить. На этот раз наблюдатели „почему-то сочли нужным испросить разрешения партии на убийство Муравьева“. Члены ЦК разрешения не дают и решительно высказываются против убийства министра юстиции. Но это запрещение положения не меняет. Мнение ЦК оказывается никому не интересно. Боевая организация считает себя самостоятельной и за покушение на Муравьева все же берется. Правда, это покушение оказалось безрезультатным, но только потому, что карету министра от назначенного металлщика, дежурившего с бомбой, „загородили ломовые извозчики“.

Ломовые извозчики, по своей влиятельности, оказались несравненно сильнее, чем ЦК партии.

Террор вырождается все очевиднее. Из средства он обращается в самоцель. И как алкоголику, чтобы ощутить желанный подъем нервов, с течением времени нужно увеличивать порцию спирта, так же точно и террористы нуждаются в увеличении масштаба своей разрушительной работы.

Прежние мерки с течением времени кажутся слишком скромными. Отдельные эпизоды считаются уже недостаточно эффектными. Гоц в этот период предлагает два плана: взорвать либо дом, где жил Дурново, либо поезд, в котором он ездил к царю. Одновременно боевая орга-

низация подготовляет покушения и против адмирала Чухнина, и генерала Мина, и полковника Римана, и охранника Рачковского.

...„Как произошло, что я, Борис Савинков, друг и товарищ Ивана Каляева и Егора Сазонова, сподвижник их, человек, который участвовал во множестве и множестве покушений при царе, в убийстве вел. князя Сергея и в убийстве Плеве, — как случилось так, что я сижу здесь на скамье подсудимых, и вы, представители русского народа, именем его, именем рабочих и крестьян судите меня? За что? За чью вину перед крестьянами и рабочими?“



З. В. Коноплянникова.

Вечная память чистым и незапятнанным борцам. Да живут в памяти потомства светлые образы Гершуни и Каляева, Вноровского и Сазонова и многих, многих иных.

Но с суровой непреклонностью напоминает нам история русской революции, что не в том горе, что дело террора трагически выродилось и привело к делу Азефа в 1908 году и к делу Савинкова в 1924 году.

Сущность в том, что террор не мог не выродиться.

И глубоко значительной и поучительной рисуется приведенная, между прочим, Б. В. Савинковым короткая

беседа его в Женеве с Матюшенко, матросом, бежавшим с восставшего броненосца „Потемкин Таврический".

Б. Савинков настойчиво старается завербовать Матюшенко в боевую организацию. Но попытки Савинкова привлечь Матюшенко остаются безуспешны.

— Вам бы за настоящее дело, за террор взяться, — советует Савинков.

— Террор? Верно, это не языком трепать. Да не для меня это,—отвечает Матюшенко.

— Почему?

Он задумался:

— Массовой я человек, рабочий! Не могу я в одиночку. Что хотите, а не могу.

В этом суровом заявлении Матюшенко — „Массовой я человек, рабочий... Не могу" — надо искать ответа на общий вопрос о том, как „Героическое в революции", представленное в светлых образах Каляева и Сазонова, жутко смешалось с предательством азефовщины и авантюризмом савинковщины.

Между этих двух полюсов история русской революции знает и фигуры типично-серединные, обывательские. Одной из таких именно фигур является напр. нашумевшая в свое время Маруся Спиридонова.

М. Спиридонова была одной из тех мстительниц, каких так много выдвигала русская жизнь в те времена. Она убила некоего Луженовского, осужденного на казнь Тамбовским комитетом партии с.-р. за те зверства, какие этот администратор проявил при усмирении деревень Тамбовской губернии.

По всей России возникали тогда стихийные мужицкие бунты, и по всей России свирепствовали усмирители, являвшиеся с казаками, на место восстаний, в качестве карательных экспедиций. Луженовский был одним из таких

усмирителей. Все деревни, какие прошел огнем и мечем этот советник тамбовского губернского правления, представляли собой, как говорилось на суде, „картину такого же опустошения, как болгарские деревни после нашествия турок“. Точных итогов этой деятельности Луженовского не подвести. Никто не считал, сколько убитых на смерть, запоротых и искалеченных людей оставалось в каждой деревне на пути шествия усмирителя Луженовского. Предуказанной свыше целью таких экспедиций было устрашение. Старались сделать так, чтоб мужики не только сами забыли о бунтах, но и внукам бы наказали сидеть смирно и о бунтах и не помышлять.



М. А. Спиридонова.

Действовал Луженовский по готовому для таких экспедиций шаблону. Сплошное избиение всего населения без различия пола и возраста, порка целых деревень от мала до велика, массовый грабеж мужицких изб, изнасилование женщин, вот те способы, на каких специализировались лихие усмирители, посылавшиеся во главе отрядов из специально подобранных бравых казаков.

Луженовский был, сам по себе, быть может, не хуже и не лучше других усмирителей, свирепствовавших в те дни по разным губерниям и уездам России. Особенно заметны казались деяния Луженовского разве только по-

тому, что еще недавно этот герой считался у себя в Тамбове крайним либералом. Он был членом сословия присяжных поверенных, считался „красным“, и еще только что обращал на себя внимание местного общества „революционными“ речами, вызывавшими шумные аплодисменты.

Но вот Луженовского назначили советником Тамбовского губернского управления, сделали его цензором местной газеты и, резко переменив фронт, вчерашний либерал стал усиленно делать карьеру. Не было той крайней меры, на какую не пошел бы этот новоявленный монархист и пылкий „патриот“ во имя борьбы со „швабодой“, с жидами, студентами, земцами, печатью и т. п.

Карьерные старания вчерашнего либерала были оценены. Именно он оказался поставлен во главе казачьих войск, посланных на усмирение в Тамбовскую губернию. Взысканный милостями начальства, Луженовский спешит полностью оправдать доверие. Летописи эпохи ярко рисуют его деяния. По приезде в очередное село, распорядившись согнать сход, Луженовский приказывает казакам нагайками и прикладами поставить крестьян на колени на площади, а сам уходит обедать. Долгие часы трапезы с соответственными возлияниями и послеобеденного сна особы—мужики, в грязи и снегу, стоят на коленях, дожидаясь, пока их высокоблагородие проснутся и соизволят взяться за суд и расправу, т.-е. указать, кому из мужиков—порка, кого—в тюрьму, а кого и к расстрелу, производимому здесь же, на глазах у замученной, терроризованной толпы.

Село за селом, деревню за деревней объезжает с казаками лихой усмиритель Луженовский. И по всему пути неизменно остается все тот же кровавый след. Убитые крестьяне, изнасилованные женщины, сожженные избы,

разоренные деревни... Много победных трофеев принесено им к подножию трона. Тут и залпы в толпу, и 10 мужиков, расстрелянных в деревне Павлодаре, тут и те замученные мужики, которые после трехдневных истязаний умерли в селе Березовке, и те мужики в селе Песках, которые сошли с ума от мучений, и те отдельные жертвы, до смерти запоротые нагайками, как социал-демократ Александр Дубровин (один из тех, кто отправлялись в деревню, чтобы придать организованность озлобленному и стихийному мужицкому движению). „Его замучили в течение четырех дней",—говорят показания свидетелей.— „Когда на пятый день его родственницам удалось проникнуть к его трупу,—они его не узнали. Вместо красивого, статного юноши,—Дубровин представлял из себя кучу лохмотьев мяса, костей и крови. Последний день— рассказывали очевидцы,—он задыхался, просил воды, ему не давали. Он подползал к двери, чтобы глотнуть свежего воздуха, но казак, с возгласом: „Куда, собака!", гнал его в угол нагайкой."

Если и сам Луженовский был не хуже и не лучше других истязателей, то, увы, ничем не отличалась и судьба М. Спиридоновой от судьбы очень многих жертв царского режима, хотя бы того же Александра Дубровина. Но имя Маруси Спиридоновой прогремело на всю Россию, отозвалось и заграницей, и стало казаться типичным и нарицательным.

Взяв на себя роль мстительницы и добыв револьвер, Спиридонова постаралась попасть в тот поезд, в каком едет Луженовский. „Я пробыла на одной станции— сутки, на другой—тоже сутки, и на третьей двое суток",— рассказывает Спиридонова о том, как она разыскивала и поджидала Луженовского. Но вот поиски увенчались

успехом: „Утром, при встрече поезда, я, по присутствию казаков, решила, что Луженовский здесь. Я взяла билет второго класса, рядом с его вагоном. Одетая гимназисткой, розовая, веселая, спокойная, я не вызывала никакого подозрения“...

„По приходе поезда из Борисоглебска“,—продолжает свой рассказ Спиридонова,—„я с площадки вагона сделала выстрел в Луженовского, проходившего в густой цепи казаков. Стреляла я до тех пор, пока было возможно. После первого выстрела Луженовский присел на корточки, схватился за живот и начал метаться по платформе. Я в это время сбежала с площадки, и быстро, раз за разом, выпустила еще три пули. Всего нанесено пять ран: две в живот, две в грудь и одна в руку“,—деловито сообщает, давая отчет в письме к товарищам, М. Спиридонова.

По показаниям свидетелей, „растерянность после выстрелов была так велика, что никто не мог уловить, откуда раздавались выстрелы. Спиридонова, сбежав с площадки все время меняла свою позицию, выбирая наиболее удобные для выстрелов места и, так как она стреляла из револьвера, скрытого в муфте, то никто из окружавших Луженовского не уловил, не понял, чьих это рук дело. Все растерялись, никто ничего не понимал“.

Вдруг, среди общего смятения, раздались слова: „Расстреливайте меня“. Все обернулись по направлению голоса, и увидели маленькую, худенькую гимназистку с револьвером, который она подносила к виску, чтобы покончить с собой.

— Ежели бы она сама не заявилась, нам бы ни в жисть не догадаться, что это она стреляла,—заявляли впоследствии свидетели на суде.

Не успели прозвучать слова „Расстреливайте меня“ из уст гимназистки, как ближайший к ней казак ударом приклада в голову сразу же опрокинул ее на платформу и револьвер выпал из ее рук. Один из телохранителей Луженовского, личный его друг, казачий есаул Аврамов подскочил к сваленной, схватил за косу, намотал ее на руку, поднял девушку на воздух и несколько раз ударил нагайкой по голове. Затем он—показывают свидетели,— с размаху бросил ее на пол, и, продолжая наносить ей удары нагайкой и топтать ногами, крикнул казакам: „Бейте ее! Бейте сильнее, без пощады!“

„Вокруг беспомощного худенького женского тела толпились сильные, вооруженные люди, и друг перед другом изощрялись в ловкости нанесения ударов. Это делалось открыто, при всех пассажирах поезда и служащих на станции“.

— Еще бейте! Сильнее! До смерти засечь ее!— кричит с площадной бранью казачий есаул Аврамов.

Маруся Спиридонова сумела, закусив губы, не издать ни одного стона за все время, как ее избивали нагайками и топтали ногами в кованных сапогах.

— Бей всех, кто тут есть! Всех в нагайки!—командует есаул. Казаки набросились на неповинную толпу. Исполосованы, искровавлены все, кто попались под руку, не только стар и мал из пассажиров, но и кондукторская бригада, и даже железнодорожный жандарм унтер-офицер Хитров. Избит по лицу и начальник станции Полунин.

Все избиваемые ограничиваются стонами. Даже мировой судья Борисоглебска, Коваленко, случайно оказавшийся на станции, ограничивается тем, что панически прячется от расправы в уголок вагона. Протестовать этот представитель правосудия и не думает. Он слишком

хорошо знает, что казаки Луженовского—это люди дрессированные. Эти специалисты по усмирениям натасканы на то, чтобы исполнять приказания начальства без рассуждения и избивать людей по первому знаку, не раздумывая.

Только впоследствии, благополучно выбравшись с вокзала и добравшись к себе домой, мировой судья, содрогаясь, вспоминает сцену избиения Спиридоновой: „Как ее били, как ее ужасно били!"

Один из афоризмов казачьего есаула Аврамова имеет право на то, чтобы остаться в памяти потомства.

— Хорошо досталось? Мы на то и казаки, чтобы вас избивать.

Истерзанную Спиридонову решено свалить на извозчика и увезти на квартиру к исправнику. Для этого жертву избиения волокут к выходу с вокзала за ноги по платформе. „Она была совершенно не живая",— говорят свидетели.

Другие свидетели, случайно оказавшиеся у исправника видели, как Спиридонову приводили в чувство. Делали это „ударами со всего размаха по лицу".

— Зачем вы меня бьете? Предавайте суду, расстреливайте, но зачем истязуете меня?!—слышали свидетели слова Спиридоновой.

Из квартиры исправника, где Аврамов и Жданов успели подкрепиться, закусить, чем бог послал, и основательно выпить, Спиридонову переводят в участок. Один из участников выпивки, доктор, предлагает пойти к Спиридоновой и оказать ей медицинскую помощь, но исправник категорически протестует.—Ни доктора, ни следователя я к ней не пущу!

Вместо доктора, в камеру Спиридоновой в участке отправляются все те же Аврамов и Жданов. Отправля-

ются затем, чтобы продолжать истязания несчастной жертвы.

Двенадцать часов кряду продолжаются в застенке мучительные пытки.

Нашумевший в свое время своими документальными сообщениями по делу Спиридоновой, корреспондент „Руси“, В. Владимиров, отправленный редакцией для производства следствия по делу, разузнал биографии палачей.

Кто такие они, герои этого истязания? Жданов,—свидетельствуют документы,—это молодой человек 22-х лет. Он был в те дни помощником пристава и только после своих подвигов по делу Спиридоновой получил повышение, оказался назначен приставом в третий участок г. Тамбова. Аврамов несколько старше, чем его коллега. Этому казачьему есаулу около 30 лет. Это—темный шатен, стройный и красивый. Он хорошо одевается, много занимается своей внешностью. Он любит музыку, очень общителен, постоянный посетитель всех общественных собраний, вечеринок, неутомимый танцор. Душа общества, что называется.

12 часов кряду занимаются эти два человека истязанием несчастной жертвы. Дежуривший в полицейской части урядник впоследствии о пытках Спиридоновой показывал: „Мне в пальто было холодно, а ее держали раздетой. Ее брали за косу и в воздухе секли нагайками, приказывая ей кричать, потом вновь подымали за косу и секли“.

— На что я казак,—показывал другой свидетель,—но и то дрожь по телу пробегает, когда вспомнишь об этих истязаниях.

„Они были так виртуозны в своих пытках“,—рассказывает сама Маруся Спиридонова в своем, обошедшем все

газеты „письме из тюрьмы“,—„что Иван Грозный мог бы им позавидовать. Ударом ноги Жданов перебрасывал меня в угол камеры, где ждал меня казачий офицер, наступал мне на спину и опять перебрасывал Жданову, который становился на шею. Они велели раздеть меня донага в мерзлой камере. Раздетую, страшно ругаясь, они били нагайками и говорили: „Ну, барышня (ругань), скажи зажигательную речь“. Один глаз ничего не видел и правая часть лица была страшно разбита. Они нажимали на нее и лукаво спрашивали: „Больно, дорогая? Ну, скажи, кто твои товарищи?“ Они выдергивали волосы из головы, и спрашивали, где другие революционеры. Тушили горящую папиросу о тело, и говорили: „Кричи же, сволочь“. С целью заставить кричать, как в тисках, давили ступни моих ног сапогами и гремели: „Кричи (ругань)! У нас целыми селами коровами ревут, а эта маленькая девчонка ни разу не крикнула, ни на вокзале, ни здесь. Нет, ты закричишь!“.

— Я ни разу за все время битья на вокзале и потом в полиции не крикнула!—с гордостью говорит М. Спиридонова.

Надо ли останавливаться на подробностях истязаний? Аврамов подносил револьвер к виску Спиридоновой и грозил застрелить ее, „если она не скажет, кто ее любовники“, потом отнимал револьвер и ручкой его ударял Спиридонову по щеке.

Спокойно и просто сооообщает М. Спиридонова все эти подробности пыток: „Аврамов упирался ногой в живот, бил нагайкой по лицу, произнося омерзительную ругань и кричал: „Ну, богиня, скажи же нам зажигательную речь!“ Вырывая клочья волос, он раздувал их по воздуху и с нежным видом участия спрашивал: „Больно тебе, моя

дорогая? Головка болит?“ и в это время новый клок волос оказывался в руках истязателя“. Когда она падала на пол, Аврамов и Жданов подымали ее ударами сапог в голову, грудь, спину.

Аврамов отрывал руками края приподнятой кожи у израненных мест. „Это—самые ужасные муки“,—говорит М. Спиридонова:—„в это время было такое чувство, как будто со всего тела сдирают кожу“.

Время от времени истязания прерываются, мучители уже ушли. Но когда измученная жертва забывалась, она замечала, что дверь тихонько открывается и оба мучителя на цыпочках с согнутыми фигурами старались незаметно прокрасться к ней с тем, чтобы внезапно и неожиданно накинуться на свою жертву с новыми ударами нагаек, новыми истязаниями.

Но на этом испытания несчастной не окончились.

„Уже в участке“,—рассказывает М. Спиридонова,—„истязания приняли особый оттенок.—Мы на ночь отдадим тебя казакам,—говорил Жданов. — Нет,—говорил Аврамов,—сначала мы, а потом казаки. И грубые объятья сопровождались приказом: „Кричи“.

Еще трагичнее оказывается вся обстановка в поезде, в котором Аврамов с казаками ночью перевозит Спиридонову в Тамбов.

„Грубая брань Аврамова,—описывает обстановку этого переезда Спиридонова,—висела в воздухе. Даже казакам было жутко. — „Пой, ребята, — командует есаул казакам:—Что вы приуныли! Пой, чтоб эта сволочь подохла при нашем весельи“. Гиканье и свист, отвратительные песни... Страсти разгораются, сверкают глаза и зубы“.

Полностью прошла весь крестный путь свой несчастная девушка. Есаул увел Спиридонову в другой вагон.

„Офицер ушел со мной во второй класс“,—говорит в своем письме М. Спиридонова:—„Он пьян и ласков. Руки обнимают меня, расстегивают, пьяные губы шепчут гадко: „Какая атласная грудь, какое изящное тело“... Нет сил оттолкнуть. Голоса не хватает, да и бесполезно. Разбила бы голову, да не обо что. Да и не дает озверелый негодяй. Сильным размахом сапога он ударяет меня в сжатые ноги, чтобы обессилить их. Зову пристава, он спит. Офицер, склонившись ко мне и лаская мой подбородок, нежно шепчет мне: „Почему вы так скрежещете зубами,—вы сломите ваши маленькие зубки“...

. . . .

„До сих пор я сильно больна“, — заканчивает это письмо из тюрьмы М. Спиридонова:—„Если убьют, умру спокойно и с хорошим чувством в душе“.

Мать М. Спиридоновой, которую допустили к несчастной только через 17 дней, застала ее в тюрьме на полу. Вместо лечения у истерзанной пытками девушки отняли даже койку, „бросили ее на холодный пол, как избитое животное“.

Узнать М. Спиридонову нет возможности. Страшное, запухшее, ободранное лицо не сохранило и малейшей тени сходства с той, „молоденькой, розовой, веселой гимназисткой“, какая уехала от матери три недели назад.

Все тело несчастной изуродовано, покрыто кровоподтеками, ссадинами и красными и синими полосами. Во многих местах содрана кожа. Глаза не открываются.

— Мамочка, ты не беспокойся,—через силу шепчет дочь:—Я умру с радостью.

Крайне характерны детали эпохи. Когда автор книги „Мария Спиридонова“, В. Владимиров, приехал в Тамбов,

чтобы произвести расследование и лично расспросить свидетелей, он застал там совершенно подавляющую атмосферу всеобщей паники. Все боятся рассказать хотя бы что-нибудь из того, что им известно. Даже „наиболее бесстрашные“ обыватели рискуют говорить очень немногое, да и то с опаской и оглядкой.

„Когда меня принимали лица, искренно желавшие познакомить с фактической стороной дела,—то они,—рассказывает В. Владимиров,—тщательно закрывали двери и просили не садиться близко к окну. Часто заглядывали сами в окна, в ожидании не пройдет ли сыщик, шпион. Просили меня не нанимать извозчика около дома, а пройти квартал-другой пешком“.

— Дорогой мой, — говорит В. Владимирову одна из представительниц Тамбовского общества, старая женщина:—Вот вы пришли, а поглядите мои руки,—холодны, как лед. Я вся трясусь, как в лихорадке. Я так боюсь! Хорошо, я вам расскажу все, все что знаю. Только умоляю вас, уйдите скорее и... и больше не приходите.

Как ни торопятся власти с судом, но полтора месяца М. Спиридонову поднять на ноги не удается. Крестьяне селения „Пески“, одного из тех сел, где недавно свирепствовал Луженовский, успели узнать, что недавний усмиритель их кем-то ранен. Они послали в город трех ходоков, чтобы те расспросили имя человека, отомстившего их мучителю. Ходокам дан наказ точно узнать имя, „чтобы вся деревня знала, кого в поминание занести“. Ходоки особенно волнуются тем, как именно следует поминать.— Ежели жива, — то за здравие, а если умерла, то за упокой. Отправляются они ко дворам с компромисным рецептом. Поминать, оказывается, следует о здравии болящей Марии.—Хоть и должна помереть, но, пока что, жива.

В городе обыватели больше интересуются тем, сколько ран и какие именно получил Луженовский. Этот человек исключительной силы, несмотря на безусловно смертельные две раны в живот и еще две раны в грудь, борется со смертью долго. Пять недель его богатырский организм продолжает борьбу. Этот жирный, толстый человек заживо разлагается. Раны гноятся. Рожистое воспаление, начавшееся на животе, грозит захватить все тело. При перевязках прилипают куски мяса, сгнившая кожа. От него идет нестерпимо тяжелый запах, но он цепко хватается за жизнь, и только на шестую неделю, через 40 дней, Луженовский умер.

Протокол осмотра Спиридоновой касается только внешних признаков. От подробного осмотра М. Спиридонова, после пережитой ею сцены в вагоне, категорически отказалась. Протокол поэтому ограничивается лишь перечислением деталей, где именно „содрана кожа, размером в серебряную монету в 50 копеек", где „обнажено живое мясо", где „находятся гноящиеся полосы" и т. д.

„Шея вся отечная",—говорит протокол:—„Сильный кровоподтек распространяется из-под правого уха назад, на спину, надо думать от того, что на шею наступали сапогами и давили ее".

„Легкие—совершенно отбиты и в них произошло кровоизлияние".

— У Спиридоновой,—показал на суде тюремный врач,—развился туберкулез в жестокой форме. Горлом идет сильно кровь. У нее ослабление зрения (один глаз видит только свет), ослабление слуха, ослабление памяти (она совершенно забыла французский язык, который раньше, до истязания, хорошо знала). Развились сильные головные боли...

— Вы можете меня убить,—говорит судьям в последнем слове своем М. Спиридонова:—можете изобрести самые ужасные наказания, но прибавить к тому, что я вынесла, вы ничего не можете.

Суд продолжался недолго, всего около трех часов. „Смертная казнь через повешение",—значится в приговоре.

— Господа судьи,—говорит на суде защитник Спиридоновой Н. В. Тесленко:—Я знаю, все сделано для того, чтобы послать на эшафот Спиридонову. Но разве суд—заведение, в котором вслед за заказом немедленно появляется требуемое исполнение? Разве суд—машина для наложения карающих штемпелей на обвинительные акты? Суд—глубокое испытание человеческой совести, и к ней, к вашей совести, я обращаюсь. При свете ее рассмотрите, содеянное подсудимой, и вы увидите не одинокую Спиридонову, убивающую Луженовского, вы увидите всю страждущую Россию. Вы увидите сотни Спиридоновых, тысячи Луженовских, и весь тот ужас, который гнетет и давит нас. Вот уже сколько лет мы живем в кровавом тумане! Кажется, все великие изобретения человечества, пар, электричество, телеграф, телефон, книгопечатание, все соединилось для того, чтобы каждый день, собирая вести со всех концов нашей родины, терзать и мучить. Загляните в газету, которую вы сегодня прочли. Посмотрите! Разве типографской краской она напечатана, а не кровью засеченных, замученных? Разве не слышится из каждой печатной строки стенания, вопли и призывы о помощи?

По назначению от суда Спиридонову защищает казачий есаул Филимонов.

— Господа судьи. Я, так же как и вы, вырос в военной среде,—говорит Филимонов на суде:—Мы, военные, все

воспитаны в умении прямо и смело смотреть в глаза смерти, а, в случае необходимости, причинять ее другим. Но я твердо знаю, что даже в пылу брани, в самом горячем бою, рука честного воина не опускается на голову женщины. Военные люди женщин не убивают!

— Да, я убила Луженовского,—говорит Спиридонова, подробно рисуя карательную деятельность этого царского слуги, то море крови, каким залил он целый ряд деревень:—Сердце так рвалось от боли, так стыдно было жить, когда все это происходило. А когда я увидела мужика, сошедшего с ума от истязаний, увидела мать, дочь которой бросилась в пруд после казацких ласк, я сказала:—я убью Луженовского, я пойду на смерть, никакие силы ада не могли меня остановить.

Помилования М. Спиридонова не хотела. В своем письем к товарищам, написанном после приговора, она говорит:

„Боюсь не справиться с собой, если самодержавие окажет мне „милость“. Я не хочу его милостей. Моя смерть представляется для меня настолько общественно-ценной, что всякую милость самодержавия я приму, как месть, как новое издевательство“.

М. Спиридонова приговорена к смертной казни.

— Настроение у меня замечательно хорошее: Я бодра, спокойно жду смерти, я весела, я счастлива,—пишет она из тюрьмы в дни ожидания казни.

После процесса Спиридоновой начальство не только демонстративно повышает в чинах Аврамова и Жданова, но и, назначая их на более высокие должности, заботливо переводит их на новые места, чтобы уберечь от возможной мести.

Но уберечься им не удается. В ближайшие же дни появляются мстители. И Аврамов, и Жданов, оба оказы-

ваются убиты. Каждый из них, как и Луженовский, получил по несколько револьверных пуль.

В это же время волна негодования, вызванная сообщением в „Humanite“ о пытках над Спиридоновой, успела прокатиться по всей Европе.

Целый дождь писем стал появляться на страницах всех европейских газет.

— Мои русские сестры и братья. Вперед! Берите приступом вашу Бастилию, чтоб освободить эту героическую жертву, нашу общую сестру,—писала социалистка Луиза Карль.

Во Франции образовался особый „комитет протеста“ против смертной казни Спиридоновой, против насилия над женщиной.

Самодержавие уступило. Смертный приговор Спиридоновой заменен каторгой.

— Я так приготовилась к смерти, что не могу себе представить, как стану теперь жить,—говорит М. Спиридонова: — Я так ждала смерти, что отмена приговора и замена его вечной каторгой подействовала на меня очень плохо. Мне не хорошо. Скажу более, мне тяжко. Впрочем... Я из породы тех, кто смеется на кресте— старается утешить себя помилованная:—Смеялась же я, теряя сознание под прикладами, смеялась радостно, слушая смертный приговор, буду смеяться и в каторге. Ведь выносить муку придется за идею, а идея так прекрасна, так велика, что пред ней меркнут личные ощущения“.

ПОСЛЕСЛОВИЕ.

В предисловии к данной книге уже было указано на опасность преувеличения роли личности в истории общественных движений. Пусть автор не дает истории, а лишь отдельные эпизоды, пусть он только рисует события, а не объясняет их,—самые эпизоды и события эти не могут не вести к целому ряду неизбежных выводов.

Раньше всего нельзя не остановиться на неравномерности в распределении материала книги. Марксисты, давно уже точно и четко выяснившие второстепенное значение личности в истории, естественно уделяли несравненно меньше внимания отдельным героям и деятелям своего лагеря, чем народовольцы, а впоследствии социалисты-революционеры. Вот почему из этой последней категории исходило наибольшее число биографий, мемуаров и т. п. материалов, и пользовавшийся этими материалами автор иной раз перегружает свою работу образцами именно народовольческого и эс-эровского типа, в ущерб иным, более важным, хотя и менее полно представленным в мемуарной литературе.

Уделяя в своей книге большое внимание террористам, автор не останавливается на том, какой класс представляет партия с.-р., точку зрения какого класса они выражают.

Вот почему остается не объясненным, почему в главе „Мстители" мы, наряду с такими образами, как Каляев

и Сазонов, находим фигуры Савинкова и Азефа, фигуры отнюдь не случайные.

Даже деятельность таких безусловных идеалистов из стана с.-р., как Каляев или Сазонов, требует осторожной оценки. Нельзя забывать о том, какое место занимает внешне-эффектный террор в общей истории революционного движения. „Убийство того или другого министра не изменяет дела“,—напоминал Зиновьев:—„надо поднимать массы, организовывать миллионы людей, просвещать рабочий класс“.

Тем очевиднее необходимость резко отрицательного отношения к таким деятелям, как Савинков и др. Эти „распорядители крови“ всегда посылали на убийство других. Сами они рисковать собой не желают, они умеют всеми мерами беречь свою драгоценную жизнь.

„Социал-демократия всегда будет предостерегать от авантюризма и безжалостно разоблачать иллюзии, неизбежно оканчивающиеся полным разочарованием“,— писал Ленин в „Искре“ уже после убийства Сипягина.

Этот авантюризм не является чертой лишь отдельных людей, как Савинков. Он свойствен самой организации индивидуального террора, самому ЦК и всей партии с.-р., мелко буржуазной по самой сущности своей. Недаром и в самой книге И. Полтавского так четко видна темная роль ЦК с.-р. и в деле Азефа, которому старательно дали, почти помогли бежать, и в деле об убийстве Гапона Руттенбергом, от которого так предательски отрекся пославший его на убийство ЦК, действовавший по указке Азефа.

От дела Азефа в 1908 году до дела Савинкова в 1924 процесс выявления подлинной сущности с.-р. развертывался вполне закономерно.

Не менее показательны и те места главы „В тюрьмах и шахтах сырых“, какие посвящены описанию „Якутской бойни“, где пострадали Гоц, Минор, Фундаминский, или описанию того быта ссыльных, о котором рассказывает Зензинов в своей книге „Из жизни революционера“.

В наши дни вспоминать об испытаниях, какие переносили при царском строе эти деятели партии с.-р., не указавши на то, как они после революции выявили свое подлинное лицо, нельзя. Знаменитый процесс партии с.-ров показал, как низко пали эти люди, дошедшие до получения субсидий от иностранных правительств на дело борьбы с рабоче-крестьянским строем.

Случайно ли это вырождение? Отнюдь нет. Оно было предсказано еще десять лет тому назад. В книге Л. Каменева „Меньшивики в первой революции“ читаем: „Конечно, тогда нельзя было еще предвидеть, как далеко пойдут господа Мартовы, Даны, Потресовы, Черновы, Авксентьевы, Савинковы, как следование за кадетами приведет их к поддержке империалистской войны, к коалиции с генеральско-казачьей контр-революцией, сделает орудиями мирового капитала и заставит добровольно играть роль наводчиков у дула тех орудий, из которых буржуазия расстреливала социалистическую революцию. Во всяком случае из истории революции нельзя будет выкинуть тот факт, что за 10 лет до октябрьской революции большевики вскрыли контр-революционную роль меньшевиков и с.-р. и разоблачили союз Потресовых и Черновых с буржуазией против рабочих и крестьян“.

Все эти важные соображения особенно ярко иллюстрируются теми страницами книги, какие посвящены Марусе Спиридоновой. Автор, как будто, и сам сознает: „Зверские муки, на какие обрекли М. Спиридонову полицейско-

казацкие герои, вовсе не были исключительны в те времена. В этом не было ничего необычайного. Напротив, это являлось типичным для тех дней!".

Автору ясно, как будто, и то, что сама по себе, независимо от своей судьбы, М. Спиридонова ничего исключительного не представляет. Молоденькая гимназистка, рядовая исполнительница, посланная на террористический акт тамбовским комитетом партии с.-р.

Как же, каким же образом из соединения ничем не замечательной личности и ни в каком отношении не исключительной судьбы могла бы вырасти героическая фигура, будто бы „воплощавшая в себе целую эпоху"? „Как будто в лице подвергнутой пыткам в Борисоглебской тюрьме Маруси Спиридоновой сама свобода русская, исполосованная нагайкой, воочию вставала перед всей страной".

Испытания, перенесенные М. Спиридоновой в царские дни, были очень тяжкими. Но как же быть с дальнейшей биографией М. Спиридоновой, примкнувшей к левым с.-р., разделившим бесславную судьбу с.-р. правых? Разве можно забыть о той предательской роли, какую взяли на себя левые с.-р. во дни Брестского мира и убийства Мирбаха, срывая мирную политику рабоче-крестьянской власти и провоцируя новую войну с Германией?

Они не могли не знать, что в то тяжелое время, под гнетом разрухи и усталости, оставшейся в наследство от царского режима, новая война с Германией явилась бы катастрофой, полным и окончательным срывом всей политики Советов. Но авантюризм оказался сильнее этого сознания. Лево-эс-эровские Репетиловы продолжали свое демагогическое „Шумим, братец, шумим", и не случайно, а вполне закономерно левые эс-эры так же безнадежно

утонули в пучине политического небытия, как и их достойные соратники, герои иностранных субсидий, правые с.-р.

В истории русской революции имя Маруси Спиридоновой остается рядом с именами Виктора Чернова, Б. В. Савинкова и др. печальных героев печальной эпохи, и для читателя книги Полтавского это должно послужить ярким показателем того, куда может завести „культ личности“, индивидуальная „ставка на героя“.

Цена 1 р. 50 к.



СКЛАД ИЗДАНИЙ:
Центральное Т-во „**КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО**"
МОСКВА, Моховая, 20, тел. 5-87-92.
ЛЕНИНГРАД, Просп. 25 Октября, № 53.

